Список жителей Латвии в возрасте до 16 лет, депортированных 14 июня 1941 года

Х

Хабермане Майя Кристаповна	**1936**
Хаберманис Индулис Кристапович	1939
Хаберманис Атис Кристапович	1939
Хагемане Илга Карловна	**1928**
Хагеманис Зиедонис Карлович	**1931**
Хазе Изя Германович	1934
Хазе Иосиф Германович	1929
Хазе Валентинс Хербертович	1926
Хайтина Дорита Израелевна	1930
Хайтина Сильва Израелевна	**1932**
Хайт Хайне Шмерелевна	1930
Хамбургер Леа (Лия) Немаха Зеликовна	1939
Хамбургер Пери Зеликовна	1935
Хамбургер Шуламис (Суламифь) Зеликовна	1933
Хартманис Вилнис Кристапович	**1940**
Харью Карлис Имантс Мартинович	**1938**
Харью Рута Мартиновна	**1932**
Хартмане Аустра Индриковна	1926
Хартмане Расма Кристаповна	1937
Хартманс Сигурдс Карлович	1937
Хасмане Юдите Рудольфовна	1925
Хасманис Гунарс Викторович	1927
Хасманис Рене Рудольфович	1930
Хауптманис Лаймонис Павилович	1926
Хелвигс Аусеклис Арнольдович	**1924**
Хелвигс Гунарс Арнольдович	1927
Хелвигс Модрис Арнольдович	**1929**
Хелманс Леонидс Давидович	1928
Хелмутс Армандс Жанович	**1938**
Хелмутс Инарс Жанович	**1934**
Хелштейн Ася Шабсовна	1941
Хелштейн Либе Шабсовна	1925
Хелштейн Тамара Шабсовна	1932
Хениня Ингрида Вилисовна	1937
Хениня-Хеминя Хелмия Яновна	1929
Хениньш-Хеминьш Витолдс Янович	1931
Херцекович Авива Симанисовна	1935
Херцекович Бенами Симанисович	1938
Херценбергс Леонардс Георгиевич	1934
Хермане Марута Теодоровна, род. в ссылке	**17.02.42**
Хермансоне Бригита Фрицевна	1939
Хермансоне Хилда Фрицевна	1931
Хермансонс Хуго Фрицевич	1932
Хертеле Вия Александровна	**1928**
Хертелис Айварс Александрович	1939
Хертелис Илгварс Александрович	1932
Хеса Валентина Эйженовна	1930
Хесс Эйженс Эйженович	1926
Хинце Георгс Рудолфс Эйженович	1934
Хинце Ирена Эйженовна	1939
Хиршзон Геня Рувиновна	1937
Ховш Рахиль Рувиновна	1925
Ховш (Ховша) Михель Рувинович	1929
Хофмане Аусма Жановна	1927
Хофмане Майга Жановна	1929
Хофмане Скайдрите Альбертовна	**1928**
Хофманис Алдонис Эдуардович	1935
Хофманис Эдвинс Вилисович	**1931**
Хохфелде Айна Карловна	1939
Хохфелде ВайраКарловна	1936
Хребтов Игорь Александрович	1925

МАЙЯ ХАБЕРМАНЕ (СКУСТА)

родилась в 1936 году

Вместе с мамой Зентой, отцом Кристапом и братьями-близнецами Индулисом и Атисом мы жили в «Бики» Пенкульской волости Елгавского уезда. Родители владели 54 гектарами земли. Родители играли в театре, пели в хоре, отец командовал айзсаргами. Он был старше мамы на 17 лет, служил в царской армии, участвовал в Рождественских боях.

Вечером 13 июня 1941 года пришел какой-то человек. Отец оделся, мама сунула ему в карман нож, и они ушли. Меня прогнали спать. Назавтра в доме появилось много незнакомых людей, расхаживали по дому. Я радовалась, что мы куда-то поедем. Наряжала куклу и медведя. Сказали, чтобы мы собирали вещи. Они помогали, вытащили серебряные предметы, сложили теплые вещи. Куда поедем, не сказали. Помню, когда мы ехали, укрыла куклу и медведя, чтобы не промокли. В вагоне было маленькое окошко и длинные полки. Было жарко, трудно. Отец с Погой ушел в тот вечер в лес, где они прожили три дня. Потом сообщили, что отправят вместе с семьями, они поверили. 18 июня их арестовали и отправили в лагерь, где 5 июня 1942 года отец умер. Я видела архивное дело: приговорили его к расстрелу, но он умер от голода.

Оказались мы в Красноярской области, в селе Вершино-Рыбное Партизанского района. Жили вместе четыре семьи. Один брат болел, ошпарил рот. Какая-то женщина сказала: «До дома не довезешь». Еды не было, меняли вещи. Больше всего вещей было у мамы. Обменяли все до последнего. Помню, что деревенские относились к нам хорошо. Хотя и у самих у них ничего не было. Что могли, то и давали в обмен на наши вещи.

Очень хотелось есть, ждали маму с хлебом, но это был не хлеб, в нем была лузга, которая царапала горло. Картошку ели вместе с шелухой. Из Латвии прислали газеты, на белых полях мы писали. Носили газеты на гору, продавать, не помню, за сколько. Однажды продала все, прибежала домой, мама отправила второй раз. Мне было страшно идти через болото, мама гоняла меня розгой. Есть было нечего, всю траву в округе обобрали. Мама сказала: «Пойди к Ауфманисам», – детей у них не было, и справа от ворот росла лебеда, я ее нарвала.

Мамы работали в лесу. Дети приносили домой валежник – доставать топливо должны были мы. Мамы сварили картофельную ботву и отравились. Тайком они собирали колосья, в них стреляли. Счастье, что никого не ранило. Был страшный голод. Мама хотела умертвить нас, а потом себя, но подумала, что после убийства первого ребенка у нее не останется сил, и отказалась от этой мысли. Пошли в школу, к ногам привязывали галоши. В школу ходили по очереди.

В 1946 году детей отправляли домой, я очень хотела уехать, мне было уже 10 лет. Мама меня отпустила, братья были еще маленькие. Собирали нас в Красноярске. Вчетвером спали на железной кровати. Вшей была уйма. Дождались вагона, но я заболела корью, поместили меня в Красноярскую больницу, постригли. Долго выздоравливала, попала в следующий вагон. Было жарко, спала на полу. В Риге меня положили в больницу с воспалением легких.

В Риге жила бабушкина двоюродная сестра, она приносила мне в больницу яблочные пирожные, миногу. Когда я выздоровела, отвезли меня к маминой сестре в

Мама хотела умертвить нас, а потом себя, но подумала, что после убийства первого ребенка у нее не останется сил, и отказалась от этой мысли.

«Яунбалдоне» Пенкульской волости. Я пошла в 3-й класс, объединенный с 5-м классом. Платок мне повязывать не разрешали, а мне было стыдно, что я стриженая.

В 1947 году на Лиго мама с братьями нелегально приехала в Пенкуле. Юлите Эрмане, ей сейчас 80 лет, работала тогда на почте, мама пришла и сказала: «Мне нужен паспорт». И она этот паспорт устроила. Попали в свой дом.

В 1949 году парторг выгнала нас из дома. Я ушла к тете по отцу Олге Шенфелде в Елгаву, мама с братьями перебралась в «Калнини», в Бенескую волость. Она работала скотницей. Братья ходили в школу. Я училась в 5-м классе и как-то заметила, что меня из школы до дома провожает какой-то мужчина. Мы с тетей жили на втором этаже, я ей его показала. Они искали маму. И нашли – в конце января 1950 года ее арестовали, судили за побег и посадили на три года в тюрьму. По этапу ее доставили в Красноярскую область, в Манский район. Нас не взяли. Братьев родственники поделили между собой. Потом маму амнистировали, но она должна была на всю жизнь остаться в Сибири.

В 1956 году мама вернулась, там она вышла замуж за репрессированного белоруса, приехали и купили домик. Когда они вернулись, жить было негде. Я ютилась у тетиных соседей. У них во дворе была небольшая хозяйственная постройка, где и мама поселилась. Деньги у них были, начали строить свой дом, строили долго. Брат Атис окончил сельскохозяйственную академию, стал агрономом, женился очень поздно, в 1992 году умер от рака печени. Не пил, не курил. Индулис долгие годы работал в пожарном депо шофером, работал в трех местах, надорвал сердце и в 1987 году умер. Мне пришлось сказать об этом маме, это было ужасно. Мама умерла за несколько месяцев до смерти второго брата. Я вышла замуж в 1961 году за репрессированного Мариса Скустса. Он находился в Красноярской области, а познакомились мы здесь, в Елгаве. В 1962 году у меня родился сын Айгарс, у него своя семья. Младший внук учится в 4-м классе.

Слева: Майя, мать Зента, Индулис, Атис. Сибирь

ИЛГА ХАГЕМАНЕ (АЛКСНЕ)

родилась в 1928 году

Отец был полицейским надзирателем в Смилтене. Жили мы в служебной квартире. Когда летом 1940 года вошли русские, его уволили и выкинули из квартиры. Мы перебрались на хутор «Айзкалнини» Бильской волости. До школы было восемь километров, шагали вместе с братом. Отец остался без работы, мама смотрела за хозяйством. И в Бильске все было проникнуто коммунистическим духом. Особенно беспокоила песня «Широка страна моя родная». На меня она производила впечатление, которое я не могла объяснить. В школе рассказывали о том, каким прекрасным будет наше будущее. Когда сама я оказалась на просторах «страны моей родной», все поняла.

14 июня 1941 года в двери и окна громко постучали. Дом перевернули вверх дном, все перерыли. Приказали в темпе собраться, брать ничего не разрешили. С собой захватили полкаравая хлеба и маленький чемоданчик с мясом. Попыталась сбежать, но неудачно.

На станции в Валке нас с отцом разлучили. Папа маме сказал: «Вероятно, мы больше не увидимся, держись, тебе растить детей». Отцу было 40 лет. Больно вспоминать. В вагонах было много детей, старых больных людей. Некоторые ели, прячась под одеялом, ночью, чтобы не пришлось делиться. У детей слюнки текли. Иногда давали суп. Все это было ужасно.

Привезли нас в Ачинск. Стоял огромный сарай, вокруг забор. Началась дизентерия, болели дети, болели старики, заболела мама, но выкарабкалась. Понаехали «скупщики» – забирали крепких на север, на лесоповал. Те, что послабее, достались председателям местных колхозов – делайте с ними, что хотите. Нас отправили в лес, в Пищеково. Там было очень много детей. Пять семей обитали в одном доме – спали вплотную друг к другу. Ночью спать было невозможно – нападали клопы.

Местные встретили нас недружелюбно, им наговорили, что мы богатеи, неизвестно какие злодеи. Но со временем они поняли, что никакие мы не чудища, что с нами можно иметь дело.

На одного человека полагалось 50 граммов хлеба в день. Взрослые работали в лесу, дети сидели дома. Близилась зима, стали думать, как выживем. У Аустры Калнини было двое малышей – Янику полтора года, Юрису несколько месяцев. Сделалась я нянькой, потому что и Аустра, и мама собирали в лесу смолу для нужд армии. Да и мне было нелегко. Юрис заболел дифтерией и умер. Вскоре заболел и Яник и умер у меня на руках. Для меня это был удар. Я к ним уже привыкла, как к своим братьям. Условия были безжалостными.

Мама разрубила в лесу руку, а больница была в Тюхтете, где жило много латышей. Мы туда часто ходили. Раз в месяц надо было отмечаться в комендатуре. Я сходила, принесла маме лекарство. Зашла к семье Игнашсов.

Мама Роландса и Валдиса болела, я обещала помочь – постирать белье. Работу сделала, но домой пришлось идти по темноте. В тайге в кромешной тьме кто-то коснулся моих ног. Испугалась страшно, до дома кое-как добралась и упала без сознания. Два дня пластом пролежала.

Обратилась в больницу – работать санитаркой. Врачи там были поволжские немцы. Доктор спросила: «А труп донести сможешь?» Я вздрогнула, но меня все же приняли. Предложили потом пойти на

В тайге в кромешной тьме кто-то коснулся моих ног. Испугалась страшно, до дома кое-как добралась и упала без сознания. Два дня пластом пролежала.

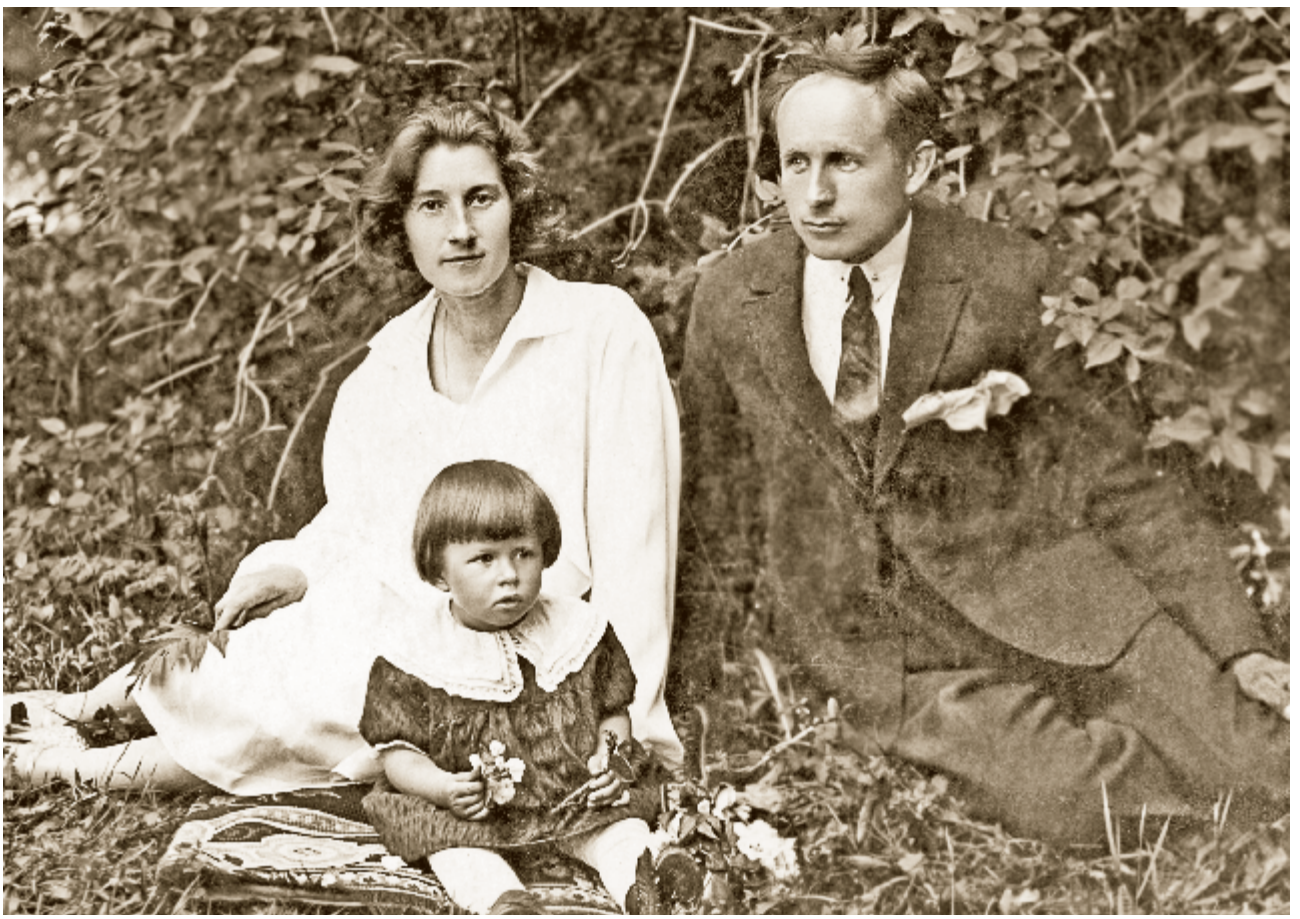
курсы акушерок. Училась девять месяцев. И в 14 лет попала в родильное отделение. Приняла первого ребенка. Какое же это было переживание! Не нравилось, что женщины так грубо ругаются, когда на свет появляется ребенок. Попросила перевести меня в инфекционное отделение. Меня перевели, но ослабленный организм подхватывал все болезни подряд. Две недели даже была без сознания. Да еще малокровие.

Недалеко была скотобойня, где работал коммунист, живший вместе с Элзой Берзинь из Валки. Договорилась, что в день буду брать литр крови. Десять дней пила, пришла в себя, снова могла работать. Назначили меня в Тюхтетский детский дом, медсестрой. Очень много больных детей было. Проработала до 1946 года. Потом надо было доставить латышских детей в Красноярск. Повезла 112 человек. Поселили нас в доме отдыха. В сентябре детей повели в баню, многие заболели.

Среди детей был семилетний Вайрис Камалниекс, его отец работал вместе с моим отцом в Смилтене, Вайрис подхватил корь и воспаление легких. Но мы уже были в пути. В Москве его в больницу не взяли. В Ржеве он был уже без сознания. Больница от станции находилась в пяти километрах, пока нашли подводу, пока довезли – изменить уже ничего нельзя было, Вайрис в больнице умер.

В Ригу приехала следующим поездом. Забрала меня к себе жена маминого брата. Работу нашла в лаборатории завода, где выпускали лимонную кислоту. Меня уже искали, и я уехала в Блискую волость, где жила папина сестра. Побывала и у жены папиного брата в «Межвиди». Мы, когда пекли хлеб, я обычно отвозила и тете. Но однажды я приехала, ее нигде не было, скотина в хлеву стояла некормленая. Нашла ее в навозе, убитую. Это было страшно.

В 1947 году я училась в вечерней школе имени Райниса. Получила от мамы письмо, она писала, что очень больна. Быстро собрала самое необходимое и поехала обратно в Тюхтет. Вышла, а на остановке мне кто-то говорит: «Поезжай обратно!» Не поняла, почему. Поехала к маме на квартиру, но ее там не было. Оказывается, тот человек на скотобойне,



Илга с матерью Карлиной и отцом Карлисом. Латвия

Илга (вторая слева) в Сибири

Строительство почты и продуктового центра в Сибири

который меня спас, разрешив брать кровь, когда я болела, позаботился и о маме – посадил ее в поезд, и в это время она была уже в Латвии. Мы с ней разминулись.

К сожалению, среди латышей всегда найдется предатель. Ко мне тут же пришел человек из комендатуры, перетряхнул все мои вещи, ночью допрашивал. Сразу в камеру не посадил, сказал, чтобы пришла завтра вечером. Допрашивал три часа, но я ничего не могла сказать. Завели меня в дежурку и велели за мной присматривать. Я думала, снова арестуют, и Родину я больше не увижу. И пока дежурные в соседней комнате играли в карты, я тихо вышла из комнаты. Бегом домой, схватила вещи и отправилась за 50 километров в Боготово. Был апрель, ночь, прыгала в канаву при проходящей мимо машине. Шла босиком, сапоги надеть не могла – ноги распухли, натерты. Пришла на товарную станцию.

Доехала до Марининской, там железнодорожная милиция составила протокол, оштрафовала. Я наврала, что еду к маме в больницу, в Боготово... На станции неделю пришлось ждать поезда до Москвы. Достала билет до Казани. Какая-то офицерская семья спрятала меня в своем купе на третьей полке, так я попала в Москву. И больше денег у меня не было. Встретила возвращавшихся домой бывших легионеров, они накормили меня, достали билет.

Приехала в Ригу, пошла на улицу Артилерияс, сейчас это Бруниниеку, увидела маму и была счастлива. Позднее встретила Валлию Зариню, которая не поверила записке, которую я оставила ищейкам: «Надоело жить, иду топиться». На следующий день меня искали, бегали вдоль берега...

Когда в Сабиле открылся новый консервный цех, я устроилась в лабораторию. В 1950 году вышла замуж, жили в Сабиле. И 20 августа взяли меня второй раз. В машине уже сидели мама и брат. И через тюрьмы мы последовали на далекую «родину». На сей раз нас доставили в Казачинский район, это за Красноярском. Отправила мужу адрес, и через неделю он приехал. 27 августа 1951 года у меня родился сын, 15 мая 1953 года – дочь. Жили там до 1964 года. Работала. Муж работал, дети ходили в школу.

В 1964 году вернулись в Латвию, а жить негде. Мы оказались никому не нужны. Во время войны мужа призвали в немецкую армию, потом он был в лагере, никакой жилой площади у него не было. У нас спросили: «Зачем приехали? Что вы здесь ищете? У вас же там квартира была!» Да, в Красноярске у нас была благоустроенная квартира, работа была хорошая. Но дети должны были ходить в латышскую школу, мы не должны были утратить свою идентичность. Когда в Красноярске узнали про наши дела здесь, стали звать обратно. Им трудно было понять, что наша Родина – Латвия, и ее мы не променяем ни на какую благоустроенную квартиру...

ЗИЕДОНИС ХАГЕМАНИС

родился в 1931 году

Я родился 1 декабря 1931 года в Стренчи. Отец работал в полиции. Позже нас перевели в Смилтене, где отец был старшим надзирателем города Смилтене. В 1941 году отца с работы уволили, и мы переселились в деревню – на хутор «Айзкалнини». 14 июня 1941 года рано утром к дому подъехал грузовик, стучали в окно. Так все и началось.

Дали 15 минут на сборы, посадили в грузовик и повезли на станцию в Валмиеру, где отца посадили в другой вагон. Это были сотрудники чека вместе с местными активистами. Не помню, сколько их там было. Мама растерялась, никто ничего не знал. Мама, сестра Илга, отец Карлис Хагеманис – никто ничего не понимал и не знал. Когда везли, на ящиках в кузове сидел охранник с винтовкой. На станции нам передали карманные часы отца, он, вероятно, знал, что их у него отберут. Его отправили в Вятские лагеря – это я понял позже.

Везли нас в товарных вагонах – женщины с маленькими детьми, двухэтажные нары, зарешеченные окошки. Не помню, сколько стояли, пока поезд не тронулся. Целый месяц везли по территории России. Через неделю мы поняли, что началась война – навстречу пошли эшелоны с военной техникой. Привезли нас в Ачинск, высадили на огромной площади.

Стояли сараи, где можно было спрятаться от дождя и грозы. Многие заболели дизентерией. Из Ачинска стали нас развозить по районам.

Когда высадили, было много матерей с маленькими детьми, даже с грудными. В вагоне в полу была дыра вместо уборной, ее загораживали одеялами. Дети плакали, болели, медицинской помощи не было. Иногда на станциях выпускали – за водой. Мое место было наверху возле окошка, смотрел, куда нас везут. Нищета вокруг. Другая страна, другие порядки – еще война не началась, а уже видно было, как они живут...

В нашем вагоне в дороге никто не умер. У нас с собой были продукты, но в Ачинске все они закончились, пришлось покупать прокисший хлеб, из-за этого начались болезни. Заболела мама, сестра. Больных посадили в машину. Мама ехала в грузовике. Сестра с вещами. Везли в Боготол, оттуда в Тюхтет. В дороге застал нас дождь, под колесами глиняное месиво, проехать не могли. Заночевали в каком-то селе. В Тюхтете разместили в бывшей церкви, спали на полу. Ждали, пока не приедут повозки с вещами из Ачинска. Из колхозов приехали за нами на лошадях.

Привезли в такую деревню Пищековка, в семи километрах от центра, в тайге. Там было, кажется, девять домиков. Мужчины были на фронте. Матери сразу пошли на работу – косить, выполнять норму, чтобы получить хлеб для себя и детей. Каждому полагалась, если не ошибаюсь, 100 граммов. Зимой мама валила березы, из которых потом делали лыжи, потом из пихты гнала смолу. Жили мы у какой-то старушки в большой комнате. Сын ее тоже был на фронте. Смастерили лежанку из чурбаков, спали высоко над полом, потому что зимы были холодные. Помню, как старушка по утрам, стоя на коленях перед иконой, молилась. Мы такого никогда видели.

Питались плохо. В тайге росла черемша, собирали лебеду, крапиву, мама из этого что-то готовила. Мама умела шить, кое-что русским шила, давали взамен ведро картошки, литр молока... В тайге рос кедр, мы забирались, снимали шишки.

Мама умела шить, кое-что русским шила, давали взамен ведро картошки, литр молока...

Зиедонис с матерью Карлиной и сестрой Илгой в Латвии

Зиедонис в Сибири

Языка не знали, в первое время в школу не ходили. Потом уже, когда мама работала уборщицей в районном центре, я пошел в 1-й класс. В каком году, не помню. Мама устроилась работать в больнице, в районном центре, дали нам на территории больницы комнатушку, в которой была печь, кровать.

Я стал работать на пункте приема пушнины. У них было два быка, я их пас. Ездил на быках за водой, было страшно. Быки заходили в воду, я наполнял бочку.

Сестра работала в детском доме. Когда мы узнали, что детей собирают в Красноярске, мы тоже собрались, договорились встретиться на станции Боготол. С нами была женщина, которой разрешили нас сопровождать. В Красноярске она передала нас комиссии, а сама вернулась. Жили мы в Юнатове, в пионерском лагере. Вначале там было неплохо, но мы приехали в октябре – ходили копать подмерзшую картошку, варили на железной плите. Жалко было расставаться с мамой. Сестра уже уехала. Мама осталась совсем одна. Когда проезжали мимо Боготола, так хотелось спрыгнуть с поезда...

Привезли нас в Рижский детский дом, переодели. Еще в Красноярске нам дали одежду получше. Нас усыновила мамина двоюродная сестра, которая жила в Курземе.

В Латвии жил в Курземе, учился в Валгальской семилетке. Летом пас коров. Семья маминой сестры считалась богатой.

В 1949 году их забрали. Ранним туманным утром 25 марта я отправился в школу. Встретил дружка, он мне говорит: «Зиедонис, сегодня в школу не ходи». Вернулся я домой.

Мама в 1947 году сбежала из Сибири, у нее был латвийский паспорт, прописка. Мама сестре сказала: иди в лес, будут вывозить. Муж маминой сестры был в лесу, заготавливал дрова, выполнял норму. Мамина сестра с детьми ушла в лес. Через какое-то время во двор въехала повозка – два чекиста и местные активисты. Вошли, описали имущество и забрали брата хозяина с женой – за ними ничего

не числилось. Он считался работником у брата. А раз хозяев не было, забрали их. Голодранец с автоматом вошел в комнату, сразу к ночной тумбочке. Меня из комнаты выгнали. Забрали деньги. До этого продали жеребенка. Я даже не знал, что там у маминой сестры лежат деньги – зато голодранец все разнюхал. Когда «мероприятие» закончилось, они вышли из леса. Назавтра им предстояло везти на приемный пункт зерно. Так и остались они голые и босые, зато в Латвии...

Я жил с ними и в 1949/50 учебном году окончил школу, отправился в Кандавский техникум сдавать экзамены. Сдал экзамены, возвращался домой на велосипеде. На лугу встретил школьного товарища, он говорит: «Зиедонис, к вам в дом вошли двое в светлых плащах». Дома мама сказала, что приходили проверять домовую книгу – кто здесь живет. Я и понял, в чем дело. Сказали еще, чтобы вечером я был дома. А я отправился к приятелю, хотел взять у него багажник, чтобы отвезти вещички и продукты в Кандаву...

Вечером выпала роса, я пошел босиком, сидели, слушали старые пластинки. И тут залаяла собака. Мама друга вышла, вернулась и сказала, что меня ищут. Паспорт у меня был с собой. Во дворе попросили показать паспорт. С ними была и мамина сестра, которую под угрозами заставили сказать, где я. Так меня, босого, и привели в волостную контору. Тетя принесла мне обувь, хлеба. Мама в это время была в Сабиле. Поехали за ней. Меня все время охраняли с автоматом. В кабине тоже сидел человек с оружием. На той же машине доставили на станцию в Стенде. Заставили купить билеты до Риги. Видно, денежки они растратили...

Сглупили мы тогда, купив на свои деньги билеты. Сестра тоже была с нами. В Риге поместили нас в здание милиции, продержали пять суток, водили в министерство, допрашивали. Потом отвели в пересыльную тюрьму. Потом вместе с уголовниками отвели в вагон. Ну, конечно: шаг налево, шаг направо...

Посадили в вагон, пассажирский, только с решетками и без полок. Спали плотно – четверо ребят: один из Резекне, из Цесиса и еще один мальчишечка. Охрана жесткая. Давали соленую рыбу, хлеб. Воды не давали. Привезли в Москву, на «Черной Берте» в тюрьму. Через три дня повезли в Свердловск. Там снова в «Черную Берту», оттуда в Красноярск. Слава Богу, миновали Новосибирск. Из Красноярской тюрьмы на пароходике 200 километров по Енисею в Казачинский район, сначала в Галанино, потом в Казачинск, распределили по деревням. Нас, четверо парней, привезли в Курбатово. Отправили на ремонт дорог. Сестра была в положении, грузила песок в самосвалы. Других отправили на лесоразработки. Строили подземные бараки, готовили землю под фундамент электростанции. Разбивали ломами мерзлую землю.

Потом отправили нас на сельскохозяйственные работы. Хотели работать за баранкой, но до смерти Сталина нас не брали. Работал на тракторе. Сестра устроилась на испытательной станции. У сестры родились девочка и мальчик, муж ее тоже приехал в Сибирь.

В 1954 году отправили меня на курсы шоферов, три года должен был отработать, возил директора. На легковушке. Зарплата небольшая – 450 рублей. Муж сестры работал на испытательной станции. В 1956 году нас освободили. Средств никаких не было, были обязательства перед работой. Вернулся в Латвию в 1957 году. Тогда было просто – все мое имущество уместилось в одном чемодане. Прекрасное мгновение – еду домой, увижу цветущие сады. Но в родных местах ничего не осталось, дом развалился...

Никто нас и не ждал здесь – в Латвии. На старое место лучше было не возвращаться. Двоюродная сестра, которая там жила, сказала – лучше бы не надо. Там же был и брат отца, который поддерживал национальных партизан. Побыл в Латвии, заработать ничего не мог, вернулся в Красноярск. И вот в 1958 году уже как свободный человек приехал в Красноярск, стал работать в экспедиции на вездеходе. Второй раз вернулся домой в 1964 году.

Кто-то из коллег отца вернулся в Смилтене, но пожил недолго и умер. Но мама успела узнать, что отец умер в декабре 1941 года в лагере...

Работал в лесу, на сплаве. Там люди не выживали.

Отцовские часы остались у нас...

СИЛЬВА ХАЙТИНА (РУБАШОВА)

родилась в 1932 году

Я родилась в Риге. В семье нас было четверо – мама, папа, старшая сестра и я. Жили на улице Сколас, 20, в квартире номер семь. Это я помню. Не думаю, что до этого жили где-то в другом месте. Из роддома мама меня привезла именно сюда. И вот, мне не исполнилось еще и восьми лет, как ночью в дверь резко позвонили. Помню, мы с сестрой сидели в кроватях и с ужасом смотрели друг на друга, а звонок все звенел и звенел. В коридоре раздались голоса, потом в комнату в сопровождении незнакомых людей вошла мама и сказала: «Девочки, одевайтесь!» Было около двух ночи. Отец мой был очень богатым человеком, в Юрмале у него была дача. У отца был большой магазин. Когда я в первый раз вернулась в Латвию, в этом доме размещался банк. Я хотела зайти, посмотреть помещение, но меня не пустили, сказали, что я должна быть клиентом банка, чтобы войти. Я сказала, что хочу открыть счет. Человек в форме с автоматом проводил меня на второй этаж, я вошла в помещение, где когда-то находился кабинет моего отца. Я хотела открыть счет, но через месяц узнала, что банк стал банкротом. Было это по адресу Бривибас 2/4, рядом с аптекой.

Помню, дали нам полтора часа, чтобы собраться. Отец ничего не взял, все время бегал по квартире, пытался доказать, что поступают с нами несправедливо. Никто не знал, что с нами произойдет. Потом один из латышей шепнул маме, чтобы взяла с собой теплую одежду. Мама вскричала: «Зачем? Сейчас же июнь!» Потом мама все-таки стала собирать одежду, а папа так и бегал по квартире, говорил, что будет куда-то звонить, что он пролетарий, что у него давно все отобрали, конфисковали, национализировали. На дачу мы в том году уже не ездили, это была уже не наша дача. Мама собрала много вещей, чемоданов не было, но были два теплых одеяла, которые спасли нам жизнь. Отец в последнюю минуту захватил 50 шелковых галстуков, носовые платки с вышитой монограммой «I H» – Израэль Хайтин. Стали спускаться, лифт почему-то не работал.

Внизу стоял грузовик. Шум стоял страшный – по улице Бривибас одна за другой шли машины, все в одну сторону. Посадили нас в машину, где уже сидели вконец запуганные люди – никто не проронил ни слова... Помню, машины были на всех перекрестках.

Привезли на станцию. Эшелон стоял в отдалении от здания вокзала. Загрузили нас в телячьи вагоны. В вагоне было два маленьких окошка, забранных решеткой. Отец забрался в вагон и устроился на верхних нарах. Еды не было. Впервые в жизни я испытала голод.

14 июня ночью вдоль вагонов бегали люди, выкрикивали фамилии. Наши родственники о нас ничего не знали. Здесь осталась мамина сестра с мужем и двумя детьми, сестра отца с сыном. В Лиепае жила мамина мама, дедушка уже умер. Нас никто не искал, за исключением продавщицы, которая работала в папином магазине. В кошелке она принесла нам поесть. Воды не было. Туалета не было. Это было ужасно – посреди телячьего вагона зияла дыра. Я, как ни старалась, не могла заставить себя ходить в эту дыру... Мама прикрывала меня с одной стороны, папа с другой. Страдали все. Вагон был переполнен. Мужчин в вагоне было мало. Были мальчики, женщины с маленькими детьми. На путях поезд стоял три дня. И вдруг шум, поезд тронулся. Когда ехали по Латвии, было так красиво – все сады в цвету.

Мама совсем не была похожа на колхозницу – туфли на высоких каблуках, шелковые чулки. Она была хорошо одета, еще не утратила своей красоты.

Когда переехали границу, открылась совсем другая картина. Нам сказали, что едем по России. Выглядело все очень бедно.

Воспоминания о дороге – голод, жажда. Никто ничего не приносил, ничего не давал. Помню, на полу в вагоне сидела латышка с младенцем, три дня так сидела, укачивала его и все время что-то под нос себе бормотала. Мы попросили разрешения поиграть с ребенком, оказалось, что младенец давно умер... У нее не было молока. Кто-то сказал об этом солдатам, они вошли, вырвали ребенка и за ноги выбросили из вагона. Она не шелохнулась. Помню, что мама сказала, что эта женщина, очевидно, потеряла разум, раз не среагировала, когда выбросили ее ребенка...

Ехали мы два месяца и еще, кажется, 10 дней. Кто-то узнал, что находимся мы в Красноярской области. Ночью поезд остановился, и всем велели выйти. Еще раньше поезд останавливали перед Уралом. Выгнали из вагонов всех мужчин. Освещали фонарями. В вагоне был отец и несколько мальчиков лет 16-ти. Отец спрыгнул с нар и сказал: посмотрите, в вагоне только женщины и младенцы, я единственный, кто ходит за водой, единственный, кто может что-то купить, оставьте меня с больными людьми. Офицер махнул рукой – черт с ним, закрывайте двери! Отец остался, остались и молодые парни. Только благодаря тому, что отец кричал, что в вагоне больные и женщины с младенцами.

Ночью двери в вагонах открыли, приказали всем выходить с вещами. Приходилось прыгать довольно высоко. У меня до сих пор шрам на коленке. Плохое запомнилось плохо. Я радовалась, что не надо заниматься музыкой, не надо ходить в школу.

Мама отыскала свою подругу – у них на Бривибас был парфюмерный магазин, такие Соколовичи. Подруга была с сыном Левой, в которого я была влюблена, когда мне было семь лет.

Ночь была холодная, мне кажется, это было 27 или 28 августа. Мне было холодно, но у мамы было одеяло, меня закутали, и я спала у папы на руках. Когда проснулась, над нами было синее небо, светило солнце, а вокруг, насколько хватал глаз, были люди... Мне казалось, что их тысячи. Вдали лес. Больные лежали на земле, кто-то плакал. Без еды, без воды. Ребенок, я, видимо, запомнила только это.

А потом стали приезжать повозки. Среди нас стали ходить мужчины и женщины, разглядывали каждую семью. Все сидели на своих узлах. Слышали, что нас разбирают колхозы. Мы знали, что находимся в Красноярской области. Сказали, что каждый колхоз должен забрать к себе фашистов, то есть нас. Им сказали, что привезли тех, из-за кого началась война. Не скажу, что отнеслись к нам с большой любовью. Нас долго не забирали – мне было восемь лет, сестре десять. Мама совсем не была похожа на колхозницу – туфли на высоких каблуках, шелковые чулки. Она была хорошо одета, еще не утратила своей красоты. Отец все время бегал, предлагал свои услуги. Никто не хотел нас брать. Приведет кого-нибудь, на нас глянут и уходят. Забрали нас только на третий день и отвезли в колхоз, который назывался имени Александра Ерша. Попали мы в дом к какой-то женщине. Относилась она к нам нормально. Помню, как через два с половиной месяца мы ели горячий суп. Это был гороховый суп со свиными шкурками. Ничего вкуснее в своей жизни не ела, потому что раньше я вообще не ела, а тут миска, деревянная ложка и – вкуснейший суп!

Колхоз был большой, ссыльных много. На следующий день отец куда-то ушел, вернулся только вечером. Пришел и сказал, что отыскал рай на земле... Вскоре начались занятия в школе. Однажды отец достал лошадь, и мы отправились в рай. Хозяйка на прощанье подарила мне котенка. Когда я показала его родителям, услышала: «Сами с голоду умираем, а тут еще котенка кормить!» Я сунула котенка в карман. В дороге родители сказали, что от котенка надо избавиться. Ответила, что тогда им придется избавиться и от меня. И котенок жил с нами еще долгие годы.

Приехали мы в Дзержинский район. Там ссыльных не было, приехали ночью. Стали жить у Насти Барловской. Утром проснулись, все спали на полу, все четверо. Открыла глаза, возле двери стоял народ, все смотрели на нас, переговаривались. Отец хотел подняться, попросил, чтобы отвернулись. Мама спала в ночной рубашке, женщины запричитали: «Посмотри, в чем она спит!» Я ни одного слова по-русски не понимала, моими языками были латышский, французский, немецкий. В Риге училась во Французском лицее. Первые слова, которые я выучила, – молоко, бычки, третье слово – неприличное, которые солдаты на каждом шагу произносят. Мама пояснила, что значат первые два слова, что значит третье слово, не знала, но когда мы ей пояснили, что его солдаты все время повторяют, сказала – ну, если его солдаты повторяют, вам не стоит это слушать.

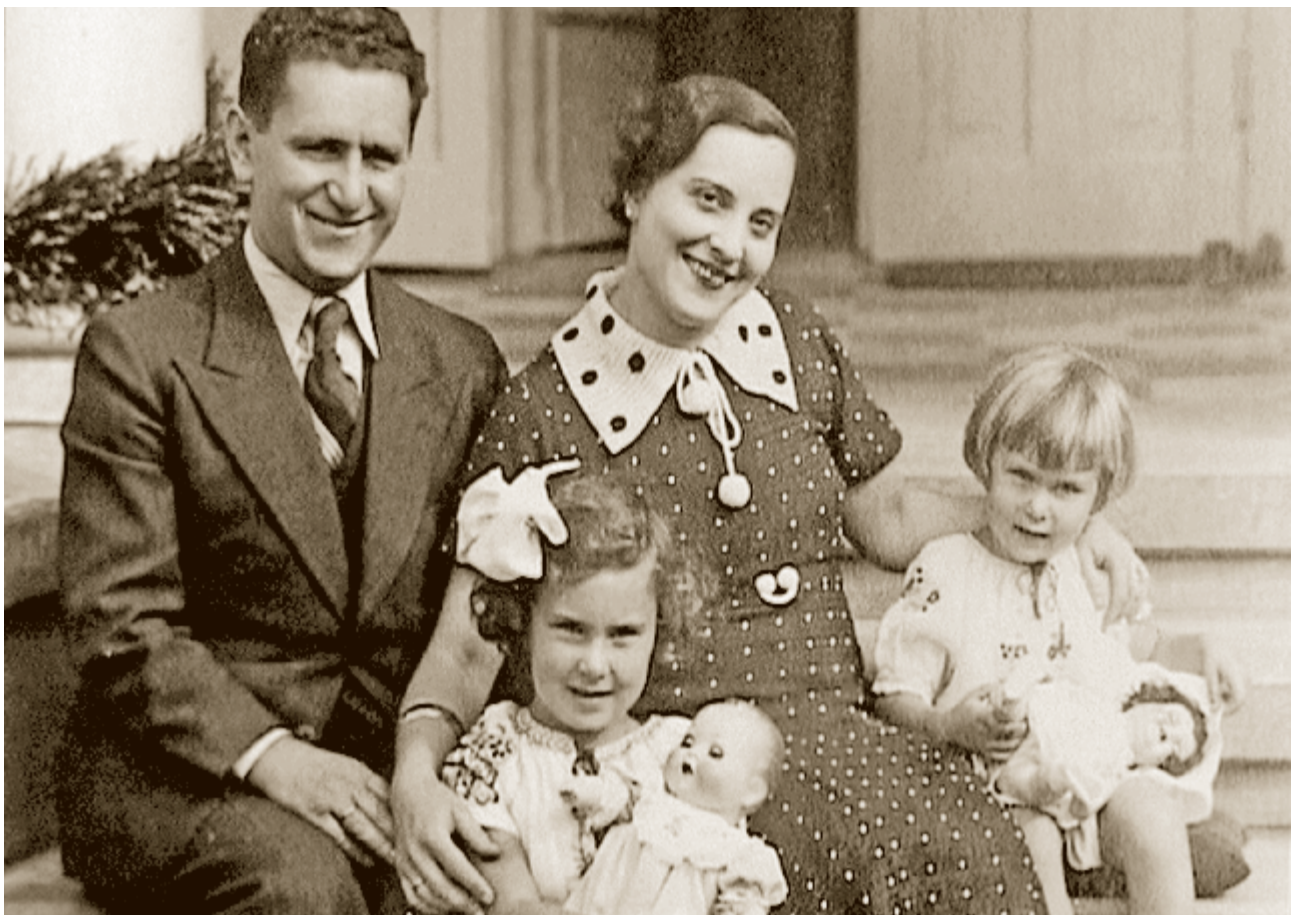
Родители сходили в школу, в которой была всего одна комната и одна учительница. Направили меня

во 2-й класс. А там дети уже писали, читали, учили стихи о Сталине. Я ничего не понимала, надо мной смеялись. Сестра пошла в 4-й класс. Там учились 11–12-летние девочки. Мы два месяца учились, забыли все языки, которые до того знали... Стали разговаривать на смешном русском. В колхозе его называли «чалдонский язык». Через два месяца мы стали лучшими ученицами в школе. Учились писать. Ни бумаги, ни чернил не было. Отец и мама трудились на полевых работах. Мама на каблуках, в шелковых чулках. Еще и лак сохранился на ногтях... Она серпом жала овес. Порезала и одежду, и руки.

Переселились в отдельный домик. Это место связано у меня с воспоминаниями о большом счастье и большом несчастье. В ночь на 2 декабря раздался стук в дверь, явились двое из НКВД, устроили обыск. Сказали, что пришли арестовать отца и конфисковать все его имущество. Отец успел отдать маме часы, а больше у него ничего и не было. Галстуки они не взяли. Я помню этот ужас. Я повисла у него на шее, кричала – папа, не уходи! Помню его глаза – как у больной собаки... Мама и сестра плакали. Так мы просидели втроем до утра. За папиной спиной мы чувствовали себя надежнее... Спустя много лет в Красноярске я прочитала его судебное дело, обвинительное заключение. Его судили за то, что в очереди, когда он стоял за полагавшимся нам мокрым овсом, отец спросил: «А что делать с мокрым овсом?» И больше ничего. Он сказал, что в Латвии овес ели лошади...

В обвинительном заключении говорилось, что Израэль Хайтин приговорен к десяти годам за антисоветскую агитацию, так как осмелился сравнивать буржуазную Латвию, в которой овсом кормили лошадей, с советским колхозом. За это его осудили на 10 лет с поражением в правах – я не совсем понимаю, что это значит. Вероятно, не имел права выбирать. Отец отсидел свои 10 лет от звонка до звонка.

За это время я окончила 2-й класс, сестра – 4-й. Больше классов в колхозе «Мокроельник» не было. Мама поехала в Дзержинск – сестре надо было учиться дальше. Там было много сосланных латышей, русских, евреев. Мама нашла жилье, но нужно было получить разрешение на переезд. Мама



Слева: отец Израэль, мать Геня, дочери Дорита и Сильва. Латвия

подарила одной женщине пару шелковых чулок, и нам разрешили переехать. Сестра пошла в 5-й класс, я – в 3-й. А еще раньше нас разыскал папин брат. Он жил в Москве и вообще боялся говорить, что его брат живет за границей, в Латвии. И вот он нашел нас через «Красный Крест» и неожиданно приехал в деревню «Мокроельник». Тут и машины никто не видел, но он нанял в Дзержинске машину и приехал к нам. Привез бумагу, ручки, копировальную бумагу. Приехал на несколько часов. Смешно было, когда вся школа высыпала поглядеть на машину. И мы с сестрой побежали. Он вышел из машины и спросил у нас с сестрой, кто мы. Мы с гордостью ответили, что мы Хайтины. Он заплакал. Он спас нам жизнь. Потом мы переехали в Дзержинск. Там было немного хуже – все было дороже.

Были всякие беды и несчастья – заболела сестра, один из маминых знакомых умер. Потом мама стала думать, как бы из Дзержинска перебраться поближе на Запад. Девушки на вечеринки ходили в маминых ночных рубашках. Мама очень переживала, говорила, что ей стыдно на это смотреть. Рубашки ведь были уже ношеные.

В Дзержинске было плохо – продавать было нечего. Помню, как мои последние трусики продали моей подружке. Ее мама могла доставать продукты, и Валя ходила в моих трусиках.

В Дзержинске была двухэтажная школа, большая. Помню, как я растерялась. И тут подбежала ко мне девочка, с которой я по-прежнему поддерживаю связь, – Люся Берина, ее мама заведовала пекарней. Это была мечта! Она дала мне откусить от своего бутерброда. Было это в 1945 году. У меня был хороший музыкальный слух, и 9 мая я гордо вышагивала впереди школьной колонны с барабаном. Я все помню, даже такую мелочь, как гвозди в стене...

Мама переехала в Канск. Разрешение она получила в 1945 году. Мы снимали комнату, я училась в 5-м классе. Напротив школы размещался НКВД. У меня об этом учреждении не было никакого представления, я только знала, что мама страшно его боялась. Я знала, что мама каждые две недели ходила отмечаться. Моя мама была красивая женщина, и когда она туда шла, стирала губную помаду. Надевала страшную ватную фуфайку. Мама курила, и когда ходила туда, одевалась как можно страшнее. Когда я у нее спросила, зачем она это делает, она ответила – не твое дело! В школу я ходила мимо НКВД. Это здание я помню – через шесть лет я сама себе подписывала там смертные приговоры, но об этом позже. А сейчас я шла в школу и была счастлива. Мне было 13 лет, когда мы узнали, что детей, у кого нет родителей или кому плохо живется, из Сибири увозят в Латвию. Мама об этом знала, но решила, что меня не отпустит. Я об этом узнала, когда акция окончилась. Я очень хотела уехать, и я маме сказала – если ты меня не отпустишь, я или повешусь здесь, или убегу на поезд. Ребенком я была непослушным, и мама знала, что свою угрозу я могу и исполнить. Мама обещала сделать все, чтобы я смогла уехать. Она списалась с московским дядей и попросила взять меня на время. И вот я еще с одной девочкой поехала в Москву. Я поняла, что ни за что больше не вернусь в Канск. Дядя отвел меня в школу. Это была образцовая женская школа на углу улицы Кирова. Вела я себя замечательно, пока не пошла в школу. Оказалось, что я не умею себя вести. Девочки, которые гуляли по коридору, в моем понимании не были девочками. Я дергала их за косы, плевалась, ругалась. Мат для меня был привычным делом. Я знала, что так вести себя нельзя. Вскоре меня исключили из школы. Деваться было некуда. И я снова сказала: если меня отправят в Канск, я повешусь в их доме на люстре. Дядя списался с маминими родственниками в Каунасе, и за мной приехала мамина двоюродная сестра. В Каунасе была гимназия. Я училась в русской школе, где в основном были офицерские дети. Были и местные, которые говорили по-русски. Была у меня подружка из того же дома – Ренате Шилкевича, она тоже ходила в русскую школу. Вначале было трудно, литовского языка я не знала. В школе документами не интересовались, в анкете врала, что мама в эвакуации, а папа погиб на трудовом фронте. Так это называлось.

В школе первый раз влюбилась. Он был сыном важного чекиста. Ученицей я была хорошей, мне полагалась золотая медаль. Перед последним экзаменом мне сказали, что так как я не местная и не русская, медаль дать мне не могут. Объяснили, что математика наука точная, снизить оценку по математике нельзя, снизили оценку за сочинение. Дали серебряную медаль. Это было в 1950 году, было мне 16 лет. Отправилась в Ленинград, но меня нигде не принимали. Понять, почему это происходит, я не могла. Хотела заниматься литературой. Мне везде отказывали. Потом поняла – в анкете писала, что у меня серебряная медаль, а в 5-м пункте писала, что я еврейка. Везде говорили, что места есть, но, прочитав анкету, начинали оправдываться – ой, забыли вам сказать, что прием закончился... Подавала на юридический, на библиотечный, был еще институт связи имени Бонч-Бруевича. Позвонила, мне сказали: для

нас честь принять медалистку. Я уточнила: но я еврейка. После паузы ответили: у нас все равны, приходите! Мне дали общежитие на Васильевском острове, я была счастлива... Училась плохо, почти ничего не понимала в высшей математике: интегральные уравнения, дифференциальные уравнения... После первой же сессии меня лишили стипендии. Путь у меня был один – обратно в Сибирь... И снова спас меня дядя – папин брат. Он, чтобы помочь родственникам, отправился на Сахалин, а свою московскую квартиру сдавал. Сказал, что деньги за квартиру будет отдавать мне. На это я и жила. Жила там два с половиной года. У меня был ухажер, собралась замуж. Была уже на 3-м курсе радиотехнического факультета. Из всего, чему меня там учили, интересовало меня только радио. Училась я все равно плохо. На 3-м курсе должна была приехать мама жениха, намечалась свадьба. Вернулась я в общежитие, и меня арестовали. Сидел молодой человек, дежурная указала на меня. Он мне предъявил ордер на арест. Перетряхнул мой чемодан, что стоял под кроватью. Велел следовать за ним, ничего не объяснил, ни слова.

На машине отвезли меня в большой дом. Там раздели, обыскали, даже в косе искали что-то. Потом разрешили одеться, но предварительно из трусиков вытащили резинку, из кос – ленты. Забрали все длинное, видно, боялись, что повешусь. Посадили в одиночную камеру. Не знаю, как долго я там находилась. Меня, как и отца, арестовали 2 декабря. Шел 1952 год. Я плакала. Открылось окошко, и мне сказали, что и плакать здесь не разрешается. Тюрьма была политическая, строгого режима. Я перестала плакать, разозлилась, как тигрица. Решила – хватит плакать! Утром разбудил меня тот же голос. Я видела, что за мной наблюдают. Медленно оделась. Утром принесли кусочек хлеба, на нем ложечка сахара, горячая вода. Я тут же все съела. Оказалось, это было на весь день. Потом принесли что-то вонючее – сверху плавали рыбьи плавники, меня чуть не стошнило. Вылила все в парашу. Эта тюрьма была еще, можно сказать, комфортная по сравнению с теми, где я побывала впоследствии. Голос произнес, чтобы я не выливала, за это полагается карцер. Еду разносили сами заключенные, поэтому он меня предупредил. Читала книжонки. Раз в неделю раздавали книжки. Толстую книгу прочитывала за день. На неделю не хватало. Начинала читать с другого конца, по одной страничке. В Ленинградской тюрьме пробыла месяц или полтора. Судя по тому, как вела себя охрана, я поняла, что, вероятно, наступил Новый год.

Ночью пришла охрана, – как обычно, все происходило по ночам, – вывели, все вещи мои находились внизу: узелок, пальтецо. Посадили в «черный ворон». На улице холодно, сидела в этом ящике, ничего не видела. Слышала только мужские голоса. Привезли на Московский вокзал. Завели в столыпинский вагон, в купе, ехала я одна, можно сказать, как принцесса. В соседнем купе ехали мужчины, натолкали столько, что им даже сесть было негде. Крики, стоны. Ехали около суток. Внезапно мне показалось, что я узнаю места, куда приехали, – высадили и куда-то повезли. Это было под Кировом, на станции Дымково, а недалеко, в поселке Слободском, жила мать моего жениха. Арестовали меня в декабре, а до этого в августе я гостила у своего жениха Игоря. Он учился в аспирантуре, мы ездили к его маме отдыхать. Тут я и вспомнила, что в Дымково в первый раз побывала со своим будущим мужем.

Отвели нас в пересыльную тюрьму – потом я поняла, что это была самая лучшая пересыльная тюрьма в моей жизни. Это был деревянный дом, набитый до отказа людьми.

Когда меня арестовали, никто ничего не объяснил. Я не знала, почему меня взяли. Парень тот меня уже ждал, я пришла с коньками, которые только что купила. На следующее утро мы должны были встречать мою будущую свекровь, но меня арестовали, показали ордер на арест и на обыск. Когда мы ехали, я начала уже кое-что понимать. Спросила: «У вас работа такая?» – «Какая?» – «Арестовывать таких дур, как я?». Он ответил: «Если спрашиваете, значит, арестовали вас не зря». Я ему в ответ: «Значит, если бы я не задала вопрос, вы арестовали бы меня зря?» Он меня оборвал: «Молчать!».

На пересылках я встретила фантастических людей. В Дымкове рядом со мной на нарах две девушки разговаривали по-немецки. Мне было неловко сказать, что я все понимаю. Солдаты уводили их каждую ночь, это называлось «идите стирать!». Они мне рассказывали, как советские солдаты и офицеры их избивали, не расплачивались, и они уходили в английский, французский секторы, где платили. Поймали их в американском секторе, обвинили в шпионаже. Привезли их обратно, дали по 25 лет. Я разговаривала с ними по-немецки, по-русски они не понимали ни слова. Я была довольна, потому что солдаты расплачивались с ними сахаром, маргарином. Я была маленькая, похожа на девочку, они со мной делились.

Была одна женщина, еврейка, высокого роста, с усами, жена немецкого режиссера. Она сбежала в

Москву от Гитлера в 1938 году. В 1939 году ее мужа расстреляли как немецкого шпиона. Ей дали 25 лет – тоже за шпионаж. К тому времени она уже 13 или 14 лет провела в лагерях, человеком была закаленным, в камере была лидером. Люди вокруг были интересные, я начинала понимать все больше, увидела зверскую несправедливость советского режима. Вместе со мной ехала эстонка. Их выгнали из Карелии, когда русские оккупировали часть Финляндии, кто-то бежал, кто-то остался. Всех их арестовали. Она была крестьянка, наивная, чистая как незабудка. Она носила мешки с едой, и у нее все украли. Помню, как в мешке проделали дырку и вытащили весь горох. Помню, как у нее украли бутылку с постным маслом.

Были комичные случаи. О тех же проститутках – одна женщина возмущалась, почему ее не посылают стирать. В камере смех, никто не сказал ей, чем девушки занимаются, а женщина для этого старовата. Там о каждом если не книгу, то рассказ точно можно было написать...

О женихе я ничего не знала. На следующее утро он пошел встречать маму. Потом он мне рассказал, что очень на меня рассердился – решил, что я проспала. А когда я не появилась и через несколько часов, стал звонить в общежитие. А девушки, с которыми я жила вместе, подписали бумагу о неразглашении. Когда меня забирали, они со мной даже не попрощались, глаз не подняли. Боялись. Он оставил маму и пошел ко мне в общежитие. Ему показалось странным, что никто ничего ему не говорит. Уже к вечеру на проходной ему сказали: «Увели твою, увели!». Он понял, что меня арестовали. Когда я вернулась в Ленинград, обо мне ходили легенды, что якобы я с крыши института по радио отправляла американцам шифровки с государственной тайной.

В тюрьме был настоящий скандал – мне не нашлось места. Мужчин сразу же увели в камеру. Дежурный спросил, куда меня посадить, – я считалась политическая, меня нужно было держать отдельно. Посадили меня в карцер. Это было ужасно. Мокро, грязно. Был март. Вошла, положила свой узелок, он сразу же утонул в грязи. Стены липкие, мое красивое пальто выглядело страшно. Кое-как примостилась, руками доставала до стен. Один шаг – вот и вся камера. Различила писк, поняла, что это крысы, что сейчас они меня съедят. Вспомнила картину, которую видела в музее, – «Княжна Тараканова». Это была моя последняя мысль. На картине изображена женщина в тюремной камере, и к ней подбираются крысы. Я бросилась к дверям, стала колотить в нее кулаками и тут же отключилась. Когда дверь открылась, охранник сказал, что выпустить меня не может, чтобы я дождалась утра, что никаких крыс в карцере нет. Наутро пришел элегантный молодой человек, меня просто выволокли, так как сама идти я не могла, перемерзла. Вывели во двор, на солнце. На минуту я ослепла от искрящегося на солнце снега. Потом были сани, колокольчик, узелок мой положили в сани и повезли меня к тому зданию, где я когда-то училась, но на сей раз чуть дальше – в НКВД. Ввели, посадили, дали подписать какие-то бумаги. Подписала, даже не глянув, что подписываю, ничего не видела. Спросила как бы в шутку, не подписываю ли я себе смертный приговор. И услышала: «А надо бы!»

В 1954 году нам выдали паспорта, вручили бумагу, что я снята с учета и освобождена от спецпоселения. Было это то ли в августе, то ли в сентябре. Я увидела, что весь Канск – одни ссыльные. К маме приходила какая-то женщина из Риги, двое мужчин из Риги – Капеловский и Гримс. Жила мама с какой-то женщиной из Даугавпилса. Там была целая колония ссыльных. К маме приходили многие, она была очень общительным человеком. И на каждые девять человек один был доносчик. Все они боялись говорить между собой, потому что не знали, кто есть кто. Оказалось, что доносительством занимался старый Гримс, мама однажды нашла его черновик – кто к кому ходил и о чем они разговаривали.

В 1954 году стало посвободнее. Начали выпускать из тюрем. Зато и криминальная ситуация стала ужасной. Все были вместе, но политических выпускали постепенно, а уголовников выпускали всех подряд. Трудно было жить там, где вокруг были эти лагеря, – в Канске, Тайшете, Абакане. Воровство, убийства.

Я продолжила учебу на 4-м курсе, оставалось мне еще полтора года. Получила диплом – «Прецизионные детали дизельных машин и механизмов лесоразработок. Лебедки, краны и тяжелые грузовики». Никто не понимал, что это значит, я тоже. И я поехала в Ленинград.

Детей у меня нет. Мне было страшно. Когда я приехала в Ленинград, мы поженились, Игорь готовился к профессуре, я работу найти не могла, так как у меня в паспорте, который мне выдали в Канске, что-то было записано не так – то ли буква, то ли номер, но меня никуда не принимали. В июле 1956 года я приехала в Ленинград и год не могла

найти работу. Искала по объявлениям, приходила, но как только заглядывали в паспорт, тут же отказывали. С трудом устроилась в «Гипродрев» – в сметный отдел. Напуганы были все. И те, кто занимал высокие должности. Чем выше, тем больнее падение. И жизнь я увидела совсем в другом свете. Помню, перед моим вторым арестом в институтском туалете повесился преподаватель марксизма-ленинизма. На страхе держалась вся страна. Люди не могли объединиться. Я подумала, что так будет вечно – этот ужас, который невозможно преодолеть. И я решила – или уеду, или наложу на себя руки. Ушла от Игоря, снимала комнату или угол. Трудно было чисто физически. Люди даже сдавать жилье боялись, ведь считали, сколько метров приходится на человека. Боялись, что отнимут комнату...

Прошло девять лет. Я жила в Ленинграде в коммунальной квартире, где обитало 23 человека! У меня были свои семь метров, была счастлива. Рядом в такой же комнатушке жила старушка – бывшая хозяйка квартиры. В этой квартире жил когда-то драматург Шварц, который написал «Дракона». Это была сестра Шварца. В одной комнате жила семья из шести взрослых, еще в одной комнате профессор Педагогического института с женой и сыном.

Квартира находилась на шестом этаже, напротив здания Всесоюзного театрального общества. Я готова была прыгнуть вниз. Я поняла, что со своим мировоззрением жить больше не могу, пылала от ненависти.

Чуть позже мне повезло. В 1959 году, через 18 лет, родители вернулись в Ригу. Сестра окончила Красноярский медицинский институт, ее направили за Полярный круг. Через два года она оттуда сбежала, вернулась в Ригу, вышла замуж. Маме с папой дали комнату на улице Дзирнаву. Я несколько раз приезжала в Ригу, меня познакомили с хирургом, с военным хирургом. Он работал в госпитале, в Ленинграде у него жил двоюродный брат. Мы познакомились, он меня заметил. Я с ним говорила обо всем, о том, что не хочу здесь оставаться. Я дала себе срок – десять лет, и я должна уехать. Он предложил познакомить меня с его ленинградским родственником. Они, сказал он, собираются уезжать.

В Москве был издан русско-ивритский словарь. В Латвии достать его было нельзя. Он дал мне словарь, сказал, чтобы я созвонилась с его братом. Я позвонила, сказала, что привезла важную книжку. Мы встретились. Он сказал, что его отец – брат президента Израиля. Его фамилия Шазар. Президент в какой-то банановой республике встретился с Микояном, попросил, чтобы выпустили его семью – брата, дочь и сына. Сын – это как раз и был он. Сказал, что скоро уезжает. Я попросила: возьмите меня с собой. Потом это обернулось проблемами. Мы официально расписались, стали оформлять документы. В январе 1965 года я с ним познакомилась, а в сентябре мы уехали в Израиль. Он хотел, чтобы я стала его настоящей женой, но я пойти на это не могла. Мы развелись. Я устроилась работать на радио, нужен был диктор. Я была счастлива. На радио встретила своего мужа. Он работал в английской редакции. Был такой случай – в Лондон сбежал писатель Анатолий Кузнецов. Я его хорошо знала, он был один из немногих, кто знал, что я уезжаю, мы попрощались. В Лондоне Кузнецов попросил найти меня. Муж пришел с работы и сказал: они получили информацию, что известный русский писатель попросил в Лондоне политическое убежище. И меня нашли. Фамилия моя была Рубашова, по мужу, который меня вывез. Я поехала в Лондон на встречу с Кузнецовым. Кузнецов предложил мне работу. Он думал, что окажется на свободе и будет писать книги одну за другой. Предложил остаться в Лондоне. Сказала, что я замужем. Позвонила мужу, спросила, не хочет ли он на год приехать в Лондон. Он согласился.

Я скажу – то, что со мной в жизни произошло, оказало на меня положительное влияние, как бы странно это ни показалось. У человека появляется иммунитет, способность к анализу. Я знаю, что была иногда ленивой, делала глупости. Помню арест – когда я решила, что плакать из-за них не буду... Это был переломный момент, я поняла самое главное: если происходит что-то непредвиденное, к чему ты не готов и ты не можешь ничего изменить, собери все силы, сделай все, чтобы выжить. Все, что от меня требовалось, – это я поняла, – выжить и смотреть на все, как на происходящее в кино. Я хотела все запомнить, потому что люди, с которыми такого не происходило, ничего не знают.

Мама умерла, когда ей было почти 96 лет. Сестра приехала в Израиль в 1971 году через Лондон. Я там сидела, бастовала, чтобы из СССР выпустили людей. Она приехала с двумя детьми. Позже работала в Берлине. Сын живет в Индии, жена у него индуска, второй сын живет в Израиле. Дети окончили Берлинский университет. Так что вся наша семья выжила, спаслась, все соединились, все в здравом уме...

ВИЛНИС ХАРТМАНИС

родился в 1940 году

Я родом из поселка Пелчи. В Пелчи был хутор «Калзниеки», дом маминых родителей. Там она провела детство и юность. В их семье росли девять детей, мама была самая старшая. В 1936 году она вышла замуж, и они с отцом купили дом «Аняс», примерно в двух километрах от «Калзниеки», где и жили до 1941 года. А до того дом этот собирался купить некий Лацис. Он был партийный и пригрозил отцу, что будет плохо, если отец купит этот дом – иметь этот дом очень хотелось жене Лациса. Отец был айзсарг. Мама говорила, что, вероятно, если бы они не купили дом «Аняс», нас бы не вывезли.

В 1941 году мне было почти полтора года. И увезли нас в Красноярск. В Манском районе было такое село Шало, там мы и жили. Начал я себя помнить лет с пяти-шести. Мама пасла скот. Что она делала до этого, не знаю. Но мама плохо видела и брала меня с собой на пастбище. Очки там достать было невозможно. И вот я, пятилетний мальчонка ... я должен был следить, куда забрела скотина, и говорить маме. Так я ей помогал. Сестра была старше. Летом за нами никто не приглядывал, и я с мальчишками целыми днями болтался на улице. Мама и не знала, как мой день проходит. Сплю в кровати, да в какой там кровати, на нарах. Утром она уйдет, я сплю, вечером придет, я опять сплю.

Весной собирали мороженую картошку, а в 1946 году, помню, мама уже свою посадила. Срезала толстую кожуру, серединку съедали, а кожуру высаживали. И вот из этих очисток вырастала картошка. Выкапывали луковицы, похожие на тюльпаны, такие дольки, варили и ели. Боярки ели, крапиву ели. Нащиплешь свежей крапивы, немного картошки, и получались крапивные щи.

В 1947 году, когда уезжали домой, я так не хотел садиться в поезд. Видел поезд впервые. Было страшно. Какой-то мужчина сзади меня подтолкнул. Было это на станции Камарчага, и мы поехали домой. Мама не сразу билеты достала... а из Латвии папина сестра посылку прислала. И в посылке был платочек. Так мама отдала этот платочек, чтобы достать билеты. Мама, помню, сказала: «Глянь, наш платочек уже у нее на голове!». На станции просидели двое суток и все равно билеты достали только сидячие, а до Москвы 10 суток ехать надо было. Но как-то доехали. Я, мама, сестра Расма – нас трое было, потому что отца в 1941 году сразу же от нас забрали. Мама рассказывала – ей тогда сказали, что дорогу разбомбили, и мужчин послали ее чинить. Я своего отца не видел. Разве можно что-то помнить, когда тебе полтора года? Он меня видел, я его – нет...

Искали, но так о нем ничего и не узнали. Слышали, что вроде кто-то был с ним вместе, что он был поваром, но так ничего и не узнали. И вот мы поехали. Сначала ехали в общем вагоне, потом стали места освобождаться... докупили билеты... Приехали сначала в Ригу, потом в Кулдигу. Приехали в Кулдигу в апреле 1947 года, во второй день Пасхи. На улице Грантс жила сестра папиной мамы, к ней и пришли. На следующий день отправились в Пелчи. Дома оставался дед, и мы снова стали жить в Пелчи.

Там же я пошел в школу. Два года отходил. В 1950 году снова нас взяли. Сначала приехала легковая машина. Взяли одну маму. Отвезли ее в Вентспилс, а через месяц, в последний школьный день забрали и нас с сестрой. А что могли мы, дети. Мне было девять лет, сестре одиннадцать. Сказали, чтобы собрали свои вещички и ехали с ними. Дедушка помог собрать вещи. Какие-то денежки были, мы их в чулке хранили. Сколько уж там их было. На легковушке привезли в Кулдигу, в

Я своего отца не видел. Разве можно что-то помнить, когда тебе полтора года? Он меня видел, я его – нет...

милицию. Переночевали, утром на автобусе в Вентспилс. В Вентспилсской тюрьме отсидели дней пять, потом повезли в Ригу – на большие сборы. В тюрьму. Отсидели две недели. Ночью загрузили в эшелон и повезли в Красноярск. Много нас в одном вагоне было. Двухэтажные нары. Я спал на самом верху, у окошка. Мне было хорошо, все видно. В Красноярске высадили и снова погнали в тюрьму, но там была тюрьма для детей. Из Латвии нас было три семьи, держались все вместе. Кажется, останавливались в Новосибирске, там нас водили в баню. Эшелон длинный, заключенных много. Сказали, что мужчины пойдут отдельно, женщины отдельно. Меня причислили к мужчинам. Выстроили по шесть человек в ряд, колонну охраняли с собаками. И повели в баню. Меня поставили в самое начало, как самого маленького. Это я помню. Рядом огромная собака и автоматчик. Шли по улице. Люди смотрели на меня. Маленький мальчонка, и такая охрана... После бани в тот же вагон и до Красноярска. Когда нас высадили, остальных повезли дальше. Высадили в самом городе. В Красноярской тюрьме нам давали молоко. Там пробыли с неделю. Снова посадили в машину, так плотно, что не повернуться. Снова отвезли на станцию, оттуда в Канск. В вагоне были настоящие преступники. Там были коридоры и все камеры с решетками... Привезли в Канск. И опять в тюрьму. Неделю были мы, три семьи, в большой комнате. Все время держались вместе. И снова за нами приехали и отвезли в Березовку Абанского района. От Канска примерно в 60 километрах. Там мы и стали устраивать свою жизнь.

В первый раз мы жили в Манском районе, возле Камарчаги, это в сторону Владивостока. Когда нас привезли второй раз, поселили в Березовке, мама доила коров. Мне тогда было десять лет. Я был как бы связным. Днем все сведения о надоях надо было отнести в районный центр, когда возвращался, должен был налить коровам в ясли воды. Это было в первый год. Два летних месяца отработал, пошел в школу. Осенью мама стала ухаживать за телятами. Она все время ухаживала за телятами, я ей помогал. Мне было лет 12 или 13, я ходил в 4-й класс, когда мама заболела. Ее отвезли в больницу, и я за нее остался смотреть за телятами. Сестра хорошо училась, она должна была посещать школу. Я учиться не хотел. Так и остался при телятах. Походил еще немного в школу, потом стал работать самостоятельно. Летом пас быков. Это были племенные быки. Полуторагодовалые, страшно было, как бы не забодали. Я уже приноровился – в одной руке метровая дубина, в другой – кнут. Если один раз быка одолеешь, он тебя будет бояться, если побежишь – пиши пропало... Потом стал воду возить. Мне было лет 14, тогда уже хорошая жизнь началась. Месяц или два возил на быках, потом на лошадях. Когда возил на лошадях, воду уже продавал. 50 копеек за ведро. Воду там приходилось носить издалека. 80 ведер в бочке, восемь быков. Воду брали на водокачке, на глубине 15–20 метров были насосы. Я спускался по ступеням, как по лестнице, сначала часа два закачивал воздух, потом со свечкой спускался, если свечка гасла, я поднимался, значит, внизу воздуха нет, и струя была тогда мощнее.

В Латвии я окончил всего два класса. В 1950 году в Пелчи ходил в школу. В России четыре класса окончил – с перерывами. И пошел учиться на плотника. Было это в Манском районе в 1957 году. Когда мама с сестрой в 1958 году поехали домой, я остался, а то надо было бы расплачиваться за учебу, сколько-то тысяч... Денег не было, и я остался. Отработал всего год в Саянском районе, в тайге. Тюрьму там ликвидировали полгода назад. Вся колючка все еще оставалась. Потом договорился, и меня отпустили. До железной дороги было километров 80. Машины не ходили. Хорошо, что там была речка Кан, связал плот и поплыл до первой большой деревни, потом автобусом до станции Вознесенская. Билеты достал не сразу. В поезде меня обокрали. Дня два ждал, пока достал сидячие. Когда поезд на станциях останавливался, пытался купить плацкартный билет, присел ненадолго, кошелек в заднем кармане, все вытащили, все бумаги, подчистую... Хорошо, что часть денег лежала в другом кармане. И там же билет до Риги. Заявил в милицию, там толковый русский сидел, все записал, и я поехал дальше.

Приехал в Москву, ничего не знаю, денег нет. Спросил дорогу, доехал на метро до Рижского вокзала. Когда ехал из Риги в Стенде, мне подсказали, где выходить. Ночь, шел автобус на Кулдигу, а денег на билет нет. Остался я ночевать на станции. Подошел милиционер, спросил, не проспал ли я. Сказал, что я еду в Кулдигу, а он мне – автобус уже ушел. И пошел я утречком пешком до дома. Кто-то подбросит, но большую часть пути одолел пешком.

Мама с сестрой раньше приехали. Жил в Падуре, здесь и остался работать. Потом пошел на завод «Вулкан». Месяца два-три проработал, а в 1961 году снова меня взяли. Говорили, что таких в армию не берут, но забрили. И все годы отслужил я в Белоруссии.

Жизнь в Латвии казалась сказкой. Не сравнить с прежней. С языком, правда... когда вернулся домой, плохо разговаривал по-латышски. Там же только по-русски. Столько лет в России... как в Латгалии... похоже.

КАРЛИС ХАРЬЮ

родился в 1938 году

Я, Карлис Харью, родился в Цесисе в 1938 году. Отец работал шофером в полиции... был оружейным мастером у айзсаргов... мастер по стрельбе... сохранились все завоеванные им призы за стрельбу.

В семье были папа, мама. Сестра родилась в 1932 году... на шесть лет старше меня... Жили в служебной квартире, в здании полиции на улице Пилс до 1940 года... Потом нас переселили в коммунальную квартиру в дом, который принадлежал господину Боне. А в Сибири мы с семьей Боне жили в комнатушке с плитой. Мама рассказывала... 13 июня вечером русские грузовики разъезжали по улицам... Решили, что они уезжают... 14 июня в 7.40 явились – собирайте вещички. Папа был шофером, дома его не было, где-то работал. Забрали маму и нас... Мне было два года и восемь месяцев... На станции погрузили в вагоны... Папа утром вернулся, взяли и его.

Вначале контакт у нас был, потому что папа сказал: «Все равно куда, только вместе...» Но люди и предположить не могли такого зверского исхода. Фактически в последний раз мы его видели в Даугавпилсе через вагонное окно.

Сказали: доедете до конца, там увидитесь... Не помню, что рассказывали о дороге. Позже уже тетя рассказывала, что я все время спрашивал: куда поедем? Знаю только, что госпожа Боне, женщина образованная, успокаивала всех: ничего, ничего... и недели не пройдет, как англичане придут на помощь... война закончится, и нас повезут назад...

Привезли на станцию Ачинск, высадили на какой-то площади. Председатели колхозов выбирали, кого взять.

Судьба оказалась милостивой – оказались мы в довольно цивилизованном поселке, где высланные еще раньше русские и немцы построили дома... школу, больницу. Село называлось Полевое, в шести километрах расположены были еще два села Абольск и Боковое, где жили такие же, как мы, горемыки.

Вначале в Полевом нас было четыре семьи: Боне, мы – Харью, молодая женщина Озола с отцом, который там умер... была еще семья Лейши – мать с дочкой Бирутой... родственница писателя Вейденбаумса, потом она в «Калачах», в доме, где жил Вейденбаумс, заведовала мемориальным музеем. Бирута стала трактористкой и ушла работать в другое место, вероятно, хотела оттуда как-то выбраться... оставила свою старую маму на мою маму, мне тоже приходилось за ней ухаживать... потом ее мама умерла.

Моей маме повезло, она устроилась в школу уборщицей. Она была работящая, умела поддерживать контакты с людьми. Она фактически все время и проработала там уборщицей. Работы тоже хватало: убирать все помещения, топить печи, пилить в лесу дрова, косить сено для лошади. Фактически дрова она заготавливала вместе с еще одной женщиной, с местной тетей Дуней, ручной пилой пилили, привозили на лошадке... Но по вечерам ей еще приходилось ходить на работу в колхоз – на зерносушилку, в самый разгар уборки... И о нас заботиться, покормить. Под конец был у нас уже небольшой огород, где кое-что выращивали. Вначале поселили нас в конюшне, там, где хранилась вся сбруя, потом переместили в комнатушку с плитой, в которой жили две женщины и четверо детей. Сыновья госпожи Боне были старше нас. Моя мама была простая женщина, госпожа Боне была женщина образованная,

Вначале в Полевом нас было четыре семьи: Боне, мы – Харью, молодая женщина Озола с отцом, который там умер...

привыкла к хорошей жизни, у нее наверняка была горничная. Она бывала во Франции, и мама в Сибири ей стирала белье и говорила, что вещи ее еще долго пахли духами Шанель... В том же году их увезли на Крайний Север... Там она и осталась, а сыновья вернулись.

Я мало что помню... Мама обо мне заботилась. Во время войны везде было трудно, школьная зарплата была ничтожной, и из нее каждый месяц надо было еще приобретать облигации. Иначе нельзя было... Бывало, мама говорила сестре: оставь Карлису... Это я помню – был похож на Ганди... кожа да кости... Развилось малокровие, пил вонючий рыбий жир... ночами бредил, куда-то проваливался, перед глазами все вертелось... Страшно орал по ночам, проснусь – долго еще не мог успокоиться...

Еще одна беда случилась в 4-м классе. Не знаю, возможно, ушиб спину... у меня начался костный туберкулез... Когда проходил медкомиссию в военкомате, констатировали, что там все закальцинировалось. А тогда лежал без движения... боли... переносили меня на одеяльце, когда надо было перестелить. Я вообще-то не особо верующий, но тогда молился, да и доктор была неглупая, нужные порошки давала. Ну, и организм, хоть и ослабленный, но молодой. Позвонки закальцинировались и образовали единый блок. Впоследствии это уже не так остро ощущалось. Потом меня оберегали от тяжелых физических нагрузок. Говорили, что не должен выполнять тяжелую работу, но я давно запрет нарушил... Папа был шофером, и я тоже хотел крутить баранку. Все время надеялся, что когда-нибудь увижу отца... там во время уборки урожая зерно возили на грузовиках, и я втайне надеялся, что приедет когда-нибудь и папа... Приехал сюда, впрягся и стал отрабатывать грехи юности (смеется).

В 1946 году в Латвию не пытались уехать? Какие-то разговоры ходили, но с опозданием... Но мама все равно не отпустила бы, ведь папа сказал: «Где угодно, но только вместе». Иварс Боне в 1946 году, кажется, вернулся... Женщины встречались, разговаривали, якобы Вилис Лацис у власти, надо бы ему написать... И писали... но ответа никакого не получили.

Мама интересовалась судьбой отца? Интересовалась, но не знаю, как, – через коменданта или как, ответили, что неизвестно, где он находится. Потом и я стал спрашивать... мама сказала, что нет его больше в живых... Когда сюда приехал, мне выдали свидетельство о смерти, там написано, что умер в 1943 году от печеночного заболевания... Когда я получил бумаги о реабилитации, там было сказано, что в 1942 году приговорен к смертной казни... Единственное, что я делал хорошо... я хорошо учился. Мама старалась нас не только физически вытянуть, но и дать образование. В 1956 году сестра окончила институт, куда с трудом поступила, ее не сразу приняли... Она пригрозила, что пойдет жаловаться в райком, так как она комсомолка и сознательная... только тогда и приняли.

Когда я в 1956 году окончил среднюю школу и поступал в Новосибирский электротехнический институт, несмотря на то, что хорошо сдал экзамены, в списках себя не нашел... Поинтересовался в других институтах – нет, не нужно. Приехал в Латвию, поступил в профтехучилище, стал электриком. Жизнь надо было начинать с нуля... Приехал в лыжном костюме с маленьким чемоданчиком, в котором были учебники, вот и все. Пять лет отработал в Риге на строительстве, электриком... И стала меня доставать милиция: почему я в Риге, здесь и своих электриков хватает... Через пять лет перебрался в Вангажи... там был поселок для новоприбывших. Прожили там 40 лет... Сначала построили времянку, чтобы было где голову приклонить, потом дом из старых шпал, из старых кирпичей. Работа большая... дом не достроили, продали, в родных местах купили недостроенный дом, который сейчас семья младшей дочери привела в порядок. Так что я вернулся к своим корням, но, к сожалению... уже без родителей. Когда я в 1959 году поступал в Рижский политехнический институт, на заочное отделение, декан Таубинс спросил: «Вы были высланы... а когда вернулись? Ах, в 1956-м... тогда можно разговаривать...». Потом по семейным обстоятельствам ушел из института, окончил позже.

Когда я уже работал в профтехучилище, старался, работал творчески, возможно, даже слишком много времени уделял работе, руководство решило, что мне надо присвоить звание Заслуженного работника просвещения... И надо было заполнить отвратительную анкету в комитете госбезопасности в Риге. Приехал, по своей наивности начал писать, но эти пункты все отвратительнее и отвратительнее... Где отец похоронен? Где дед похоронен? Стал сомневаться – что же мне писать? В те времена все мы были запуганы, не хотели открыто говорить о том, что было. Ну, я в отделе кадров спросил: «Скажи-

те, пожалуйста, что мне писать – что я не знаю или что умер в лагере?». В каком лагере, спрашивает. Я говорю: «В советском лагере...» (смеется). Она даже опешила. Пишите, там видно будет. Поняли, что никакого заслуженного... мне не надо.

Женщины говорили между собой о лагерях... Один все же вернулся в соседнюю деревню... Мы бросились узнавать, не был ли он вместе с папой... Был, но недолго, куда отец делся, он не знает. Этот человек выжил потому, что работал на кухне, не знаю, может в рубашке родился... Но наши бумаги о высылке подписывали и люди с латышскими фамилиями...

Что еще помню о детских годах... миску с супом, где поверху плавало много-много жиринок... Мама иногда ходила помогать, и эта женщина нас подкармливала.... Если не ошибаюсь, фамилия ее была Серова... Так что желаю всем Серовым благополучия. Я поразился, увидев эту миску с супом, а мама сказала: «Подожди, подожди, сначала разбавлю, потом будешь есть...». Что я хочу сказать? Хорошие матери и среди русских есть. Чувство голода? В лесу рос дикий чеснок, листья с острым запахом, кажется, в них много витаминов. В это время у меня зубы выпали. Тут уж никакая черемша не поможет. Сладкие стебли какие-то, луковицы лилий, в лесу, конечно, ягод было полно. Помню, малины много... земля плодородная... черная смородина, помню, ведро насобирал, чтобы поменять на что-то... Летом днем жарко, тащил это ведро и себя уговаривал: ну, понеси еще немножко, потом отдохни... Кедровые орехи собирали.

Какие отношения с другими ребятами? Были и среди русских мальчиков друзья... в классе были и немецкие мальчики.. Некоторые обзывали нас фашистами, но главным образом те, у кого родители были парторги или начальники... Помню, в соседнем селе жила госпожа Аушкапа, жена бывшего министра Юлийса Аушкапса... Ходил к ней иногда в гости... Она показывала мне научно-технические

Слева: Рута, мать Алвине, Карлис и отец Мартиньш. Латвия

В Сибири. 1946 год

Карлис с сестрой Рутой в Сибири

брошюрки. Что уж я там понимал, но определенный интерес к технике у меня прорезался. Второй человек, которого я там встретил из известных, был Эмилс Судмалис, писатель, переводчик... Я понял, что после лагерей и тюрьмы он отправлен был сюда на вольное поселение... И вот я в поисках папы ходил к нему, интересовался.

Представление о Латвии? Вероятно, какое-то было, мама рассказывала... помню, уговорил маму пойти за земляникой, а оттуда, с этой горы, открывался вид на кедровый лес, который внизу тянулся далеко-далеко и превращался вдали в голубую дымку... Мама смотрела и вдруг сказала: «Вот так выглядит Цесис». И теперь, когда еду, каждый раз вспоминаю... Когда ехал сюда после окончания средней школы, я был как на крыльях. Когда приехал, вышло недоразумение, дядя меня не встретил. Вышел я на перрон, тогда репродукторы орали на улицах, и почувствовал я себя за границей... Язык необычный, люди необычные... Еще Судмалис, когда я к нему приходил, говорил мне, чтобы я не употреблял посреди речи русских слов, чтобы говорил на чистом латышском языке, все-таки я латыш...

Ругаться умел трехэтажным матом и по-всякому... Словечко «вот» тоже прилипло... Все десять лет в школе учился на русском языке, латышскую азбуку видел издалека, когда ее кто-то из родственников прислал. Прислали и сушеные яблоки... Свежие яблоки увидел только здесь, когда мне было 18 лет.

Мама старалась говорить с нами по-латышски... поругивала нас, когда мы по-русски говорили... Но мы-то умные были, в школу ходили и говорили без акцента... иногда и над мамой посмеивались, что она по-русски с акцентом говорит. Когда сюда приехал, в Янюмуйже премудрости электрика осваивал на латышском языке... писал – буквы латышские, слова русские. Таким вот образом и окончил курсы. В институт поступал на русский поток... латышский осваивал самостоятельно.

Ваша оценка случившегося. Горько, что разрушили семьи. Меня измучили, я теперь нервный... Сейчас, в старости, когда вспоминаю детство, начинаю плакать... Вероятно, травмирован я всем, что случилось... тем, что здесь все пришлось начинать с нуля...

Когда я родился, папа радовался: ну, у парнишки будет всякое оружие, отец же был оружейником, мастером по стрельбе... и жили они обеспеченно... обо мне бы заботились... я бы получил хорошее образование.

Ну, еще понимание, что нет у одного народа только плохих людей, есть и плохие, и хорошие. Хорошо, что умею говорить по-русски, когда работал преподавателем, на обоих языках мог с учениками общаться...

Плохо еще и то, что от тех времен осталось что-то вроде скопидомства – последнее хламье припрячешь, а вдруг пригодится. Говорят, что те, кто побывал в Сибири, крошку хлеба не выкинут... ну, вот так.

РУТА ХАРЬЮ (СТРАДИНЯ)

родилась в 1932 году

Я родилась 12 ноября 1932 года в Цесисе. Жили – папа, мама и братик Карлитис. Папа работал в полиции. Мама – домашняя хозяйка. В Цесисе окончила основную школу.

14 июня 1941 года рано утром пришли за нами, сказали, чтобы подготовились к отъезду. Куда – не сказали. Папы дома не было. Мама вещей взяла немного, думала, что нас повезут в тюрьму. Потом мы оказались на станции в телячьих вагонах. Потом и папу привели, мама успела с ним переговорить, и его отвели в другой вагон. Саму поездку не помню, запомнились только нары второго этажа. Вагон был переполнен, ехали долго. В Ачинск попали только в июле. Держали нас на площади за ограждением. Потом стали приезжать председатели колхозов, выбирать себе людей. Мы попали в Бирилюсский район, за 150 километров от центра. В колхозе была МТС, школа и больница. Сначала мама работала в колхозе. Одежды было у нас мало, надевать нечего. Мама устроилась уборщицей в школе, там все же было теплее.

В первую зиму несколько семей жили вместе в одном доме. Сначала нас поместили в конюшню, там жили все лето. Потом мы жили в доме, где размещалась школа.

Помню Конюковку, природа там красивая. Тайга была далеко, вокруг березы, собирали землянику, и случайно я посадила брата на муравьиную кучу. Брату было два года, мне восемь. Осенью пошла в школу, ни одного русского слова не знала. Жили вместе с госпожой Боне, она была адвокатом, знала русский язык. Выучила я русский язык, отметки у меня были хорошие. Фашистами нас не обзывали. Местные и сами были высланы в 1932 году, они и нам помогли не умереть с голода.

Окончила я семь классов и мама сказала: «Дальше учиться не будешь!». Первые зимы были самые страшные. Еды не было, голод ужасный, и так продолжалось несколько лет. Но мама была работящая, вязала русским женщинам платки с кружевными краями. Помню – спала я на соломе и так ослабела, что не могла подняться. Мама работала в школе, учителя ее ценили. Мне каждый вечер (плачет) директор школы разрешал выпивать кружку молока, когда коров доили, – бесплатно. Давали овсяную лузгу, варили кисель, когда доставалась мука, добавляли. Летом мама заготавливала дрова для школы.

Латышские женщины, видно, очень сильные, иначе как можно выдержать, когда у тебя дети умирают с голоду, а самой приходится тяжко работать! Этого словами не передать. Летом выживать помогали ягоды. Малина, земляника. Землянику собирали и обменивали на продукты. Помню, был у нас коричневый котелок, набрала до верха, понесла за шесть километров в соседнее село, там на зерноскладе работала немка, она насыпала мне муки столько, сколько было ягод. Муку размешивали водой. Малину собирали ведрами, ели, сушили. Сахара не было. Зато были витамины. На второй года сажали картофельные очистки. Когда картошка выросла, жить стало легче. Первые зимы были страшные, все с ног валились. Брату было совсем плохо, болел позвоночник. Когда приехали в Латвию, лечился в Цирулиши. И со мной происходили всякие несчастья, на конеферме ошпарилась кипятком. Сама была виновата. Мама грела на улице воду для чая и велела мне принести тряпку. Мама в это время нарвала травы, сняла котел с огня и пошла.

Латышские женщины, вероятно, очень сильные, иначе как можно выдержать, когда у тебя дети умирают с голоду, а самой приходится тяжко работать! Этого словами не передать.

Столкнулись в дверях, и весь кипяток на меня – с головы до ног. Месяц лежала в больнице. Шрамы до сих пор видны. В больнице кричала от боли. Еще скарлатиной болела.

Когда все время хочется есть, в голове одна мысль – где бы чего-нибудь достать! Понимали, что надо делиться, если что-то доставали. Я еще помнила картошку со свининой, запеченную в духовке. Приходили к нам латышки, мы дружили. На следующий год в деревне остались мы одни, остальных услали на Север. Комендант маму пожалел, потому что у нее были маленькие дети. В округе латыши были – шесть километров в одну и шесть километров в другую сторону от села, дети приходили учиться и жили в школьном доме. Была одна комната. Помню... я и до сих пор не люблю тертую картошку. По-всякому было. Летом работала в колхозе, ездила на лошади верхом во время сенокоса, таскала копны. Не помню, заработала что-нибудь или нет.

В 1946 году мы знали, что детей собирают, чтобы везти в Латвию, но к нам пришли поздно. Чтобы уехать домой – и мысли такой не было. Маме каждый месяц надо было ходить отмечаться, отмечаться должна была и я, только в школе. Навечно, и все! Ужасно хотелось учиться. После седьмого класса мама сказала: «Все, дальше отправить я тебя не могу». В среднюю школу надо было ездить за 50 километров, но я все-таки выпросила. Училась я хорошо. В районном центре жила у двух латышек. Детей у них не было. Платить за место не надо было, а с едой как было, так было. Из дома что-то захватила. У нас была корова, которую оставили эстонцы, были куры. Мы уже не голодали. Кончилась война. Когда окончила среднюю школу, хотела учиться дальше, нас же туда привезли на всю жизнь. Искала лучик света и поехала в Красноярск. Выбор был невелик – ссыльная! Приняли меня в лесотехнический институт. В другие вузы не принимали. Ни в Томск, ни в Омск уехать было нельзя. На отделение деревообработки не приняли, только на отделение лесосплава. Училась, а что оставалось делать. Когда окончила, на распределении выбрала сплавную контору на Алтае, было это в 1956 году. У меня уже был паспорт. Маму еще не освободили, но мне разрешили забрать ее к себе. Вначале работала технорукoм на участке, потом перевели в контору, четыре года проработала инженером.

Мама работала нянечкой в детском саду. В 1958 году ее освободили. Зарабатывали обе, уже настали другие времена. В Заринске мама поела, наконец, белого хлеба. Когда я институт окончила, брат окончил среднюю школу, поступал в Новосибирский институт, но его не приняли – ссыльный. Меня тоже не принимали, даже на отделение лесосплава не хотели принять. В каком я была отчаянии! Собралась с духом, пошла к ректору и сказала все, что я о нем думаю. Через день нашла себя в списке принятых. Брат не отличался крепким здоровьем, отправили его к тетушке в Цесис, здесь он вылечился, проблем со спиной уже не было. Когда отработала четыре года, поехали домой. Брат женился, родилась у него дочка. Написал – пора домой, хватит там жить, надо внучку растить. И начались тут приключения – поиски работы и все прочее.

Во время учебы я побывала в Латвии, после практики приехала погостить к двоюродной сестре. Рига красивый город, но не сказать, что Красноярск некрасивый. С латышским языком было плохо, по-латышски говорили только дома с мамой. Везде говорила по-русски. Когда в Латвию приехала, приходилось за словом в карман лезть. По-латышски читала, с собой была одна книжка «Король-картошка».

В Латвии все казалось таким маленьким, особенно Цесис. В Сибири люди очень хорошие. Сибиряки не дали нам умереть с голоду. В школе была подружка, переписывалась. Была институтская подружка, ездили друг к другу в гости. Сибирь по-хорошему вспоминаю часто. Долго переписывалась с однокурсницами. Русские сибиряки более доброжелательные, чем латыши.

Ненависть испытываю только к коммунистам.

Отца расстреляли в лагере. Когда началась реабилитация, узнали, что его расстреляли. Есть им не давали, на работу гоняли.

Плохие воспоминания связаны с 14 июня и 25 марта. (Слезы.) Но молодость есть молодость. В институте было нелегко, стипендия маленькая, на нее приходилось жить. Мама зарабатывала еще меньше.

АУСЕКЛИС ХЕЛВИГС

родился в 1924 году

Я родился в 1924 году, в Янов день, так что Лиго праздновал всегда, во все времена, даже когда Янов день запрещено было праздновать. В школу пошел в Букайши, учителям я благодарен до сих пор, будучи в очень почтенном возрасте... В то время нам принадлежало большое хозяйство, родители крестьянствовали, в свободное время участвовали в общественной жизни – мама долгое время руководила драматическим кружком в Букайши, отец руководил хором, создал духовой оркестр, детский оркестр мазпулков в Букайши, организовал оркестр и в соседней, Сникерской волости. Потом мы переселились в Вилцы, дедушка был уже старый, и мы стали хозяйничать в Вилцы, на хуторе «Ламас». Я окончил Букайшскую основную школу, поступил в Межотненскую сельскохозяйственную школу, и там играл в оркестре, у нас был замечательный капельмейстер Петерис Видулейс. Но когда из нашей школы стали пропадать ученики, когда стали пропадать ученики и из класса, отец сказал: уезжай домой. Я ушел из школы и вернулся домой, в «Ламас».

В 1941 году ждали, как развернутся события, так как на станцию Мейтене, в самом центре Элеи, уже стали поступать товарные вагоны с построенными внутри нарами. 14 июня 1941 года мы утратили свободу – в наш двор въехала грузовая машина, в кузове по углам сидели солдаты с винтовками, приехали нас арестовывать... Мы завтракали, мама пригласила их к столу, четверо солдат не стали ждать вторичного приглашения, но вошел человек с пистолетом... Увидев, что солдаты отставили в сторону оружие и сидят за столом, он наорал на них, и они, так и успев поесть, встали из-за стола. Потом начальник стал тыкать деда пистолетом в спину, обыскал его – а вдруг он завтракает с оружием... велел и нам вставать и собираться... Сказали, что в Сибири нам дадут землю и лошадей. И мы сможем работать, как работали в Латвии...

Забрали всю семью Хелвигс – дедушку и бабушку, папину маму, сестру Олгу, мать и нас троих – меня, Гунарса и Модриса, отца в это время не было дома, но потом он сам пришел на станцию Мейтене, так как думал, что нас арестовали вместо него. В Елгаве мы попросились сходить за водой, так как в вагоне не было ни капли... было копченое мясо и ржаной хлеб. Достали два ведра воды, а когда возвращались, увидели сквозь оконную решетку отца, я очень удивился. Охранник разрешил передать одно ведро мужчинам, у них ведра не было... Охранник раздвинул двери, и отец взял ведро, это была последняя встреча с отцом – 15 июня 1941 года.

У дедушки начались сильные боли в животе, мы стали колотить в двери, охранник открыл... Мама говорила по-русски и по-немецки, сказала, что дедушке нужна медицинская помощь... Приехали люди в белых халатах с носилками, деда унесли и через несколько часов принесли обратно. В животе, в ране торчали тампоны, мы с трудом подняли деда на нары... И поехали на восток, ничего не зная о своей дальнейшей судьбе.

Мне было тогда 16 лет, и я не предполагал, что все может быть так печально... В одном конце вагона была дыра – туалет, мама состыковала простыни и одеяло, чтобы спрятать от посторонних глаз того, кто им пользовался...

Утром проснулся первый, справил свои дела и в голову пришла шальная мысль – а не оставить возле дыры свои ботинки, чтобы думали, что туалет занят... А сам смотрел,

...умерла папина мама Олга, мы похоронили ее еще в Таргинке, на кладбище... Начался у нее понос, она перестала есть. Понос начался и у детей...

как люди рядом топтались и поеживались. И тут вскочила Татьяна Янцева, Верина мама, отдернула занавеску и увидела ботинки… Спросила, чьи, но я не отозвался.

«Путешествие» продолжалось. Вот прогрохотали колеса по мостам через Обь, Иртыш, Енисей, вот и станция Клюквенная, где поезд наш остановился. Ехали больше двух недель… В пути встречали эшелоны с военной техникой и солдатами… Знали, что началась война. Мы надеялись, что немец русского разобьет и нас в Сибири не оставит, но матушка Булдуру из Элейской волости сказала: ну, это мы еще посмотрим, освободит ли нас немец…

В школе пробыли сутки, нас накормили хлёбовом из свежей капусты, за это спасибо… Из Клюквенной стали развозить по колхозам. Везли на телегах со скрипучими деревянными осями, в руках у кучера был невиданный кнут, сплетенный из множества тонких кожаных ремешков, который назывался канчук, а упряжь состояла из обрывков веревки и узлов. Мы с братьями таких не видывали. Кучер своим канчуком время от времени выстреливал. Вечером добрались до какого-то села, переночевали в клубе, украшенном красными лозунгами с белыми буквами. Нам указали место на сцене, и мама – режиссер – с иронией сказала: кто бы мог подумать, что я даже в Сибири окажусь на сцене…

Отвезли нас в Таргинку, колхоз назывался «Строитель социализма», в один дом поместили семьи, где было больше мальчиков, в другой – где было больше девочек. Для нас полевые работы были делом привычным, и мы сразу же стали работать в поле, в колхозе кормили хорошо, пекли вкусный хлеб; нашей семье выдавали буханку хлеба, ведро обрата и даже литр молока.

Да, недалеко от латвийской границы, когда проезжали Осташково, дедушке снова стало плохо, он уже не разговаривал. Мы снова вызвали медработников, его положили на голые доски, прямо в телегу, бабушка еще дала полотенце, и больше о нем

Аусеклис с отцом Эрнестсом и матерью Валией. Латвия

мы ничего никогда не слышали.... Бабушка совсем сникла от переживаний...

На работу пошли вчетвером – мама и мы трое, вначале убирали сено, потом на конной косилке я косил зерновые, брат был за прицепщика на тракторе, а младший ходил в школу.

В 1942 году мы уже посадили картошку, так как в колхозе давали хлеб и молоко, а картошки у них не было, но убрать урожай нам не пришлось – скомандовали собираться и повезли нас дальше, на Север. На лошадке привезли нас на станцию Камарчага, в пассажирских вагонах, правда, под охраной, но на сей раз без штыков, довезли до Красноярского речного вокзала, выкинули в чистое поле, сами мы смастерили навес из тряпок и простыней. С нами была жена судовладельца из Елгавы Алида Далберга, хозяйка нескольких домов, а здесь она лежала на земле под простыней, натянутой на шатких колышках. Ночью пошел дождь, и все мы оказались в воде и в грязи... Первым умер дед Сциллы, его похоронили на окраине Красноярска, на горке... Да, в 1942 году умерла папина мама Олга, мы похоронили ее еще в Таргинке, на кладбище... Начался у нее понос, она перестала есть. Понос начался и у детей, в семье Вилсонс умерла младшая девочка... ушла и госпожа Булдуру.

На пароходе отвезли нас в село Лебедево под Туруханском... Тут нас величали фашистами – преступниками... Мы сами должны были найти себе приют у местных, и за это надо было платить деньгами или натурой. Поэтому мы самовольно устроились в заброшенном домишке, где нашли необмолоченные снопы льна. Здесь нам хлеба уже не давали, молоко надо было покупать за большие деньги. Майга Калея из Калвене захватила с собой из Манского района тракторный цилиндр, в котором мы давили льняное семя, разводили его водой и мазали на хлеб. Те, кто работал, мог купить 400 или 600 граммов хлеба, в зависимости от заработанного. За талонами надо было каждый

Слева: Аусеклис, Гунарс и Модрис

день ходить в контору к начальнику: завтра воскресенье, работать не будешь, талоны не полагаются, кто не работает, тот не ест... Хорошо что у нас было льняное семя.

В колхозе мы охотились и ловили рыбу. Мама и другие женщины распускали толстые льняные канаты и вязали из ниток сети. Сплели небольшую сетку и для себя, а когда мы повесили ее сушить, ребята с ленинскими значками на фуфайках сетку эту порвали... Не хватало соли, вместо нее можно было достать рассол в колхозной солильне, его выпаривали и мазали на хлеб, запивали чаем – пустым кипятком, но от избытка воды начали пухнуть. У меня ноги были как у слона, но, к счастью, на правой ноге под косточкой кожа лопнула и из 11 дырочек вода из меня вытекла... От жары в ране завелись черви, страшно чесалось, но когда вода вытекла, все прошло, и я от этой беды избавился. Обычно же, если отек поднимался до талии, люди умирали, даже молодые и крепкие.

Мы купили картошки на семена, огородили это место, так как скотина там бродила где вздумается... Но ребята со значками Ленина разломали нашу загородку и скотина все вытоптала. И мы перестали стесняться, и уже в августе потихоньку стали исправно посещать колхозное картофельное поле; таким образом мы наносили вред колхозу, но сохранили для него рабочую силу. В колхозном погребе Екабс Калейс не разрешал выбирать крупную картошку, надо было брать всю подряд, чтобы не вызвать подозрений... Начальник приходил проверять, что мы варим, заглядывал под кровать... Кличка у него была Иван Грозный. По дороге с работы каждый из братьев набивал мешок крапивой, мама из нее жарила оладьи, 400 граммов хлеба на человека не хватало. Осенью там землю не запахивали, а весной лошади, ослабевшие за зиму, как и люди, не в силах были тянуть плуг, и женщины копали землю отвратительными лопатами. Я на всех собраниях смеялся над тем, как они хозяйничают, и дело кончилось тем, что меня, раз я такой умный, назначили бригадиром... Я чувствовал себя как рыба в воде, так как с сельским хозяйством был знаком – вспоминал все, чему учили в Межотненской сельскохозяйственной школе. В бригаде были только латышки, русские не шли, знали, что заработать ничего нельзя. Хорошее сено оставил для лошадей на время уборки, из старых лопат смастерил соху... У меня сохранилась газета «Северный колхозник», в которой пишется, что Хелвиг изобрел машину, которой можно обрабатывать землю и окучивать картошку – соху... Картошку сажали под соху, посмотреть пришел и председатель колхоза. В Лебедево земля была не такая плодородная, как в Манском районе, но и здесь навоз сваливали с обрыва в реку... В следующем году запахали навоз в землю и картошка удалась на славу. Осенью приехал агроном участка, попробовал картошку на вкус и признал хорошей; местные – хорошей; а то местные уже хотели было судить меня за загрязнение почвы... Зимой возил воду на ферму, в конюшню, в пекарню, в ледяной корке отправился в колхозную контору, на судебное заседание – меня собрались судить за порчу урожая в военное время... Бригадирша сидела не поднимая головы, – именно она сказала, что такой редкий овес не имеет смысла убирать. Суд постановил, что я виновен в недоборе двух тонн овса, и присудил мне штраф в несколько тысяч рублей, который стали удерживать у меня из зарплаты, получал я копейки, но к концу года сумма штрафа почему-то не уменьшилась... Агрономом на участок поставили Яниса Лаубертса из Руиенской волости; он отсидел в лагере свои 10 лет и был отправлен в Туруханск на вечное поселение... С ним работать было проще. Сеяли ячмень, урожай был выше среднего по району, приехал главный агроном района Беляев, а меня отправили в Москву на Выставку достижений народного хозяйства. Было это в 1956 году. Колхоз выделил деньги, я купил кирзовые сапоги, из брезентовой ткани местный армянин пошил брюки. В Москве на выставке красивые павильоны, наш колхоз упомянут, мое имя тоже. Вручили мне медаль выставки. Я выпросил семена голосеменного ячменя, а поскольку он не очень урожайный, мы скрестили его с сортом Полярный 14 и через пару лет получили более урожайный, многорядный голосеменной ячмень. Из него можно было варить кашу, как из перловки.

Отмечаться мы должны были вплоть до 1955 года, а для поездки в Москву в Туруханске, до которого я проделал 500 километров по реке, мне выдали твердую корочку, которая должна была заменить мне паспорт.

С женой познакомился в 1950 году. Братья мои уже переженились, взяли в жены местных женщин, чьи мужья не вернулись с войны, и у них был и дом, и корова. Я от колхоза приобрел дом в рассрочку, колхоз дал мне теленка, а местные смеялись: когда жену будешь брать... Ждешь, что на пароходе привезут... Поздней осенью 50-го года

буксир притащил баржу с решетками на иллюминаторах, людей высадили и разместили в доме, где жили вернувшиеся из лагерей, через пару дней узнал, что среди приехавших и молодая латышка с пшеничными косами, уложенными вокруг головы веночком... Мужчинам точно не спалось. Оказалось, что она отбыла в трудовых лагерях Дальнего Востока пять лет... Делегация старушек из нашего дома предложила ей переселиться к нам, и я каждое утро наблюдал, как возникает веночек из кос... Так вот в косы свои и вплела она мое сердце... И уже 50 лет спим на одной подушке... В 1952 году у нас родилась дочка, еще через пару лет – сын.

Отбыла она срок за то, что знала о деятельности некой группы, которая боролась с существующим порядком в Латвии, но ее не выдала.

Работал я не только бригадиром, но и хозяйственным руководителем, потом был заместителем председателя колхоза, потом стал депутатом поселкового совета... Это кажется невероятным... Трижды был награжден медалью участника Выставки достижений народного хозяйства. Колхозу имени Куйбышева в качестве поощрения была предоставлена возможность выдвинуть депутата поселкового совета, все единогласно назвали меня, партком же предложил кандидатуру из соседнего села, но люди не согласились и проголосовали за меня. Мне доверили везти урну для голосования в соседнее село, где должно было проходить главное голосование. Посадили на председательскую лошадь, а та за три километра до села отказалась идти дальше. Взгромоздил я урну на плечо и понес в Мирный... Радист посмеялся: такую урну и в центре Красноярска установить не стыдно. Первым поздравил меня агроном Лаубертс, разогрел жаркое из тетерева. Алкоголя там не было, что правда, то правда.

Партийным секретарем была сестра жены моего брата, и на партийном собрании зачитали письмо ЦК о Сталине – о том зле, которое он натворил... Я сказал: как вы могли не защищать своих товарищей, нет, мне с вами не по пути...

За паспортом надо было ехать в Туруханск, а разрешение вернуться домой получили мы только в 1956 году. Партийный секретарь хотела задержать выдачу мне паспорта, чтобы заставить меня остаться, но в Туруханск опоздала, паспорт я уже получил.

Попрощался с районным агрономом Беляевым, хороший был человек, с председателем райисполкома Высотиным, тоже хороший был человек, в пределах своих возможностей поступал справедливо. Как-то он мне сказал: тебе даже орден Ленина можно было бы дать, если бы ты не был ссыльным...

В 56-м году сдал бригадирство младшему брату, новый ячмень уже сильно подрос, но потом скотина повалила забор и все посевы вытоптала... Я вот и сейчас читаю, что селекционеры пытаются вывести что-то подобное, а в те годы мне, человеку необразованному, удалось нащупать суть селекционной работы... Женщины из бригады пришли на набережную, и даже лошадка, на которой я возил воду, пришла напиться, и с ней я сердечно простился.

Стояли мы на палубе белоснежного парохода, смотрели на знакомые окрестности, которым отдали мы столько лет своей жизни... Домой ехали: я, жена, дети и мама... Оба брата остались со своими женами. Средний Гунарс к тому времени уже несколько лет плавал капитаном, дослужился до управляющего геологическим флотом... Младший брат переселился в Мамонтово, поближе к Красноярску, так там и живет... Гунарс приезжал в Бене в отпуск, познакомился с местной докторшей и обратно в Сибирь не вернулся. Два года назад умер, и вторая его жена умерла... А первая жена и сейчас еще рубит дрова в России...

Отец умер 7 декабря 1941 года. Так записано в реабилитационных документах, которые прислали из Министерства внутренних дел. Сам умер, осудить его не успели... Ему, как командиру 2-го эскадрона Елгавского полка айзсаргов, как активному дирижеру оркестра и руководителю хора грозил, возможно, смертный приговор. Я разговаривал с человеком, который был вместе с ним, отец умер, как и большинство из них, от слабости и хронического поноса в Вятском лагере, в Свердловской области.

Забыть это не в состоянии ни один из нас, я знаю девушку, сейчас уже седую, которая переезжая через Даугаву, закрывает глаза, чтобы не видеть воду, потому что ей сразу вспоминается Енисей... Прощаю или не прощаю... Можно ответить словами Библии: Прости им, Господи, не ведают, что творят! Но это не были люди, слабые духом, их долг был – убивать... Так они были воспитаны... Стыдиться должны те, кто считает, что та Россия была другая, не хотят признавать своих границ, своих преступлений, не хотят признавать, что оккупировали Латвию... Может быть, что-то еще изменится, когда в России появится больше людей, которые поймут, в чем смысл демократии...

МОДРИС ХЕЛВИГС

родился в 1929 году

Мне было 11 лет. Я все помню. Мы завтракали, было 10 часов утра, за столом сидела вся семья и бабушка. Вошли два латыша и два русских с оружием. Я по-русски тогда не понимал. Обыскали, нет ли оружия. «Через 40 минут чтоб были в машине». Собрали мы узлы. Дедушка болел, просили, чтобы разрешили оставить его дома, ему было 80 лет. Русские сказали – много не берите, иначе продукты отнимут.

Оделись. В машине уже сидела одна семья. Заехали еще в один дом. И все три семьи повезли на станцию. Мейтене – последняя станция перед литовской границей.

Запихнули в вагоны. Людей много. Нары в два этажа. Дня два сидели. Отцы были отдельно. Вместе, мол, ехать некультурно, приедете на место – встретитесь. Везли ночью, днем стояли. Приехали в Елгаву, мужчин вывели. Отец вышел со слезами на глазах.

Ну, вот. Так по-русски говорят. Я был в Латвии, в Сибири говорили по-русски, мои дети латышского языка не знают. Я немного разговаривал с братьями. В 3-м классе учился на латышском.

Не давали ни есть, ни пить! Черт знает, как мучились. Привезли в Россию. На границе остановились, сказали, что это уже шестой эшелон с латышами. Мне, ребенку, было интересно. Мама хорошо говорила по-русски, по-немецки, попросила, чтобы меня отпустили за лекарством, а мне на ухо шепнула: «Обратно не возвращайся, иди к бабушке». От станции Мейтене надо было идти восемь километров, лекарство купил. Подумал – вы на поезде поедете, я тоже хочу. Так нас всех и увезли.

Привезли в Красноярск. По дороге услышали, что началась война. Радовались, что нас спасут. Но никто нас не спас. Привезли на станцию Клюквенная, там была большая школа. Потом стали приезжать из колхозов на лошадях, всех развезли по домам. Год там прожили.

Село называлось Таргинка. Отсюда 170 километров. Там бабушка умерла, дедушку из вагона на носилках вынесли, на телегу, на доски положили. Мы после войны писали, интересовались – где, как. Никакого ответа.

Отвезли нас в колхоз Минский. Мама была хорошая работница. Весной посадили картошку, думали корову купить, начнем жить. Весной снова усадили в телеги, едем дальше. Рыбу ловить.

Подумали – здесь пустой хлеб, а там еще и рыба будет. Месяц на берегу парохода ждали. И отвезли нас на Крайний Север.

Первое село называлось Лебедь. Там начались мучения. Жилья не было. Были там латыши, немцы, финны. По шесть-семь человек в комнате. Обувь не давали. Зимой мороз 40–50 градусов, живи как хочешь. Думаю вот: ну зачем людей так мучили? В России все было бы хорошо, страна богатая, ну зачем так людей мучили? Тысячи, миллионы.

В Мамонтове, где сейчас живу, всех пленных после этого осудили. В Сибири жили в землянках, кто работал, тому 600 граммов хлеба. Кто не работал 200 граммов. Ну, сколько так жить можно? Летом траву ели. Девочка умерла, они своего ребенка съели, съели от голода. Весной совсем без сил были, мама ходила в лес, ела сосновые почки. Лягушку живую съела, человек от голода с ума сходит.

Я два раза в жизни побывал в больнице. Но самая страшная болезнь – голод, это самое ужасное.

Первое село называлось Лебедь. Там начались мучения. Жилья не было. Были там латыши, немцы, финны. По шесть-семь человек в комнате.

Многие умерли, я оказался крепким пареньком. Если умирал латыш, тому, кто выроет ему зимой могилу, тому за два дня давали килограмм 200 граммов хлеба, я в один присест мог съесть всю буханку, и все равно есть хотелось. Маленькие дети еще в дороге умерли. Мало кто выжил.

В Латвии я три года ходил в школу. Здесь летом работал, потом в школу, пять месяцев. Весной снова работать. Со старшим братом пасли коров. Давали за это по куску хлеба. Когда жили на Севере, там тоже немного в школу ходил, хорошая учительница была с Украины. Она все сажала, варила суп. Капусту, картошку, морковь – каждый день давала. Один русский мальчик рассказал своей маме, мама была депутатом и запретила варить суп. Мальчик этот сейчас здесь живет, сегодня созванивался. Яков Семенович Свояк. Его сестра – моя жена.

Я много работаю. Больше года учился в Красноярске, изучал паровые машины. В последнее время энергетиком работал, в подчинении у меня было 56 человек.

Сам с собой во сне разговариваю по-латышски. Когда приехали в Сибирь, мама с нами разговаривала по-русски, чтобы мы быстрее освоились. В 1957 году мама уехала, когда уже Сталин умер.

Я мог бы вернуться в Латвию, у меня есть документы, я латыш, но что сейчас меня там ждет? Есть дом, земля, кажется 30 гектаров. Всего было 90, поделили на троих.

Дети здесь, и я здесь живу. Я взял бы с собой свою дочку, но от работы оторвать ее не могу.

Там она полы мыть будет, понимаете. К ее работе ее не подпустят. Если бы разговаривала по-латышски. Если бы в школе училась... Поздно. Ей восемь лет осталось до пенсии.

Я был в Латвии, в прошлом году был. Я хотел бы, но что я один стану там делать? Дочка моя умная, мне помогает – заболею, тут же в больницу, в первую очередь.

Я ее выучил, говорил: ты работаешь правильно. Помни, как над отцом издевались. Я ее воспитал, она работает честно. Мне кажется, у кого большие звезды, может получать 4000. А пенсию получаю 800 рублей, на неделю хватает.

Я из Латвии тоже получаю, так что в России жить хорошо. Там за один лат я могу купить три литра бензина, здесь – восемь. Да, знаю, отчая земля, но что я там один делать буду? Они все приедут, я им покажу. У нас дом в «Букайши», новое хозяйство. Дом в «Ламас», 90 гектаров, старое хозяйство. В «Букайши» бабушка, полунемка, велела отрезать землю отцу с матерью, когда они поженились.

Я все помню. Когда ребенком жил в Латвии, никаких трудностей не знал. Отец, правда, к делу стал приучать с пяти-шести лет – помогал ему и пахать, и песок возить. Весь день работал, пообедаем и снова за работу. К работе привычный. В Латвии люди работают больше, чем в России. Был там недавно – ехал из «Букайши» в Бене, темно уже было, а люди свеклу убирали при свете фонаря. В России – чтобы в темноте работали!? Это был грех! Латыши – народ трудолюбивый.

Думали ли вы когда-нибудь, что Латвия будет свободной? Думал, надеялся, что это произойдет... Если на одну вешалку все вешать и вешать, когда-то она и обломится. Все, словно пчелы, из улья вылетели. Россия осталась одна.

Многие Горбачева ругают – он виноват, что СССР распался...

Это хорошо. Много и Ельцин помог. Слышал, что латыши ему орден хотели дать, у нас писали, что он не должен его принимать, нечего перед Латвией раскланиваться. Когда расстреливали наших ребят, он поехал к русской армии и сказал, чтобы этого не делали, – это я хорошо помню. Он оттуда через Эстонию поехал, но так он сказал. Я бы ему за это медаль дал.

Я в России живу уже 60 лет. Мужчины в России живут в среднем 58 лет. Таких, как я, нас таких на сотню два или три всего... Мамочка прожила долго – до 94 лет. Когда из Латвии приехали сюда, она была женщина полная, около 90 килограммов весила, а здесь, в России, – 47, кожа да кости. У старшего брата цинга была от голода, ноги распухли, кожа лопалась, вода текла, ходить он не мог... Ужас сколько мы перетерпели в то время в Сибири. Отправили его охотиться, он заблудился... И не главное было что-то поймать или не поймать, главное была цифра – сколько в лесу охотников.

Если бы как раньше – когда я получал отпускные, мог бы в Латвию съездить, гостинцев купить, привезти. А сейчас что? Сейчас на пенсию я и до Москвы не доеду. Зато свобода, паспорт есть, поезжай, куда хочешь. Не так давно и паспорта-то получили...

АРМАНДС ХЕЛМУТС

родился в 1938 году

У меня был брат, на четыре года старше. Отцу принадлежал сельскохозяйственный магазин. Мама занималась домом.

В 1940 году вошли русские и национализировали магазин. 14 июня 1941 года, как мама рассказывала, вошли русские солдаты, велели собираться и увезли в Караосту, в военный порт. Отца отделили. Посадили нас в телячьи вагоны с решетками на окнах и повезли. Кажется, в дороге чем-то кормили. Как долго везли, не знаю.

Высадили в голом месте на берегу Енисея. Год там жили, потом повезли нас в село Новоселово. Там у нас была корова, огород. Сырую картошку грызли, вкуснее яблок!

Две семьи жили вместе. Мама смотрела за детьми и вязала русским большие платки. В первом селе нас на лошадях гоняли, не разрешали подбирать колосья. Там выращивали турнепсы, мы ходили воровать.

Хлеб был с половой. Далеко ходить не разрешалось – вокруг было много волков. В первом селе была речка, брат ловил рыбу гвоздем. А мы ловили рыбешек простыней. Спали на русской печке. Родители вертели тарелочку, а нас прогоняли на печь, чтобы не мешали. Вечерами мама усаживала меня на колени и давила вшей.

Однажды играли с русскими детьми на деньги и проиграли, мама узнала, устроила порку – на деньги играть нельзя. Русские мальчики были старше, нас обыграли.

Зимой я упал в прорубь, заболел. Болел долго, было мне тогда шесть лет. В 1946 году пошел в школу, брат уже был школьником. Месяц учился, и тут повезли нас домой. Удивительно, как мама отпустила нас одних. Собрались в Красноярске, жили две недели. Посадили в вагон и ехали мы целый месяц до Риги.

В Риге нас встретил дядя – мамин брат. Заболели тифом, месяц отвалялись. Переехали в Лиепаю, к маминой сестре, она нас воспитывала. Воспитывала нас и тетя – папина сестра. Пошел во 2-й класс. Учился нормально, окончил семь классов и пошел работать.

Мама осталась в Сибири и в 1948 году приехала нелегально. В Лиепае жить ей не разрешили, жила она в Вентспилсе. В 1949 году ее арестовали, посадили в Лиепайскую тюрьму. Я носил ей передачи. Потом ее отправили в Омскую область, там жила она до 1956 года, до амнистии. Познакомилась с литовцем, и стали они жить вместе. Он был адвокатом из Клайпеды. Год мама жила в Лиепае, потом переехала к нему в Клайпеду. Там прожила до 1992 года.

Отец пропал. Позже мы узнали, что он умер в Кировских лагерях в 1944 году. Узнали об этом еще в России, в 1946 году. Сибирь во сне не вижу.

В 1952 году начал работать на судоремонтном заводе. Работала там тетя, она меня и устроила. Это было военное предприятие. Проработал 18 лет. Меня не преследовали, репрессиям больше не подвергался. Учился в техникуме, но не окончил. Не было рядом родителей, которые бы понукали: учись, учись! Отслужил в армии. Брат тоже служил в стройбате – винтовку нам не доверяли. Служил на Урале – работал в лесу. Целый вагон латышей там был – и все неблагонадежные.

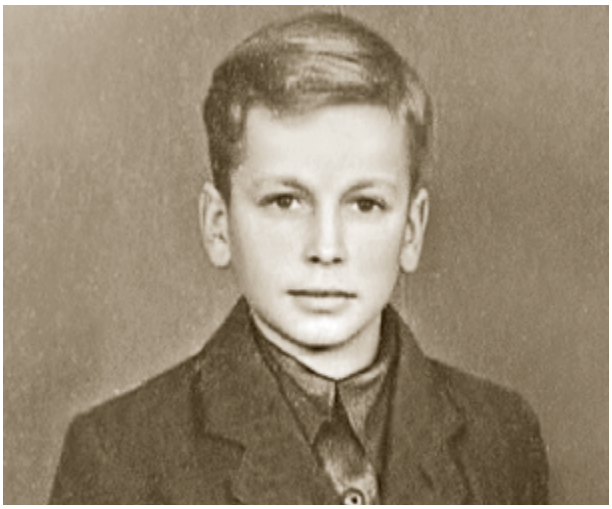
Высылка – не знаю, как оценить. Вероятно, хотели сделать из нас русских. В нашей семье погиб только отец, остальные вернулись. Другим пришлось хуже.

Много времени прошло...

Спали на русской печке. Родители вертели тарелочку, а нас прогоняли на печь, чтобы не мешали. Вечерами мама усаживала меня на колени и давила вшей.

ИНАРС ХЕЛМУТС

родился в 1934 году



И отец, и мама были лиепайчане, отец занимался торговлей, арендовал помещение на улице Бривибас. Товары в магазине были самые разные. У него вообще был талант к этому делу, магазин процветал, набирал обороты. Заглянул я в архивы – годовой оборот достигал 10 000 латов, вот и причина отправить его в Сибирь, где он погиб.

Мама была домохозяйка, воспитывала детей. У меня есть брат, младше на четыре года, сейчас он живет в Лиепае.

Осенью я уже должен был пойти в школу. Но 14 июня 1941 года перевернуло всю мою судьбу. Всю нашу семью посадили в Лиепае в вагоны для перевозки скота, и началось наше долгое путешествие. Никто нам, конечно, не сказал, куда везут.

Мама спросила у чекиста, который ворвался к нам в квартиру, куда нас повезут, но ответа не последовало. Как мама рассказывала, один из чекистов говорил по-латышски и подсказал, чтобы брали вещей как можно больше. Мама не знала, что брать, зонтик от солнца или от дождя, потому что думали, что повезут на подмосковные дачи, мысль такая появлялась, так как люди были настолько наивны, что и представить себе не могли тех ужасов, которые их ожидают.

Посадили нас в грузовик с очень длинным кузовом. Заехали в соседний дом, взяли и соседей.

Отца сразу же отделили, сказали, что встретимся, когда приедем на место. Суматоха была самая настоящая, часть вещей взял отец, часть от волнения – мама.

Я в вагоне заснул, проснулся в Елгаве, поезд стоял. На соседних путях стояли эшелоны, люди в окнах за решеткой махали нам. Мама констатировала, что у нас оказались папины вещи, а наши вещи находятся у отца. Как ей удалось, не знаю, но в Елгаве вещи она поменяла... Воспоминания о поездке расплывчаты, но когда переехали границу – помню – весь пейзаж изменился: стояли бедно одетые люди, вероятно, белорусы, махали, что-то кричали. Потом мама сказала, что они просили хлеба. Запомнились первые станции, где нас выпустили за кипятком. Стояли маленькие домики, и на них была надпись «Кипяток», они сохранились и до 1954 года, когда я служил в армии. Ничего с тех пор не изменилось. Возле поезда толпились оборванные люди, продавали какую-то еду. Помню, что на одной из станций мама купила яйца. Возможно, у мамы с собой были какие-то деньги, она знала русский язык, могла контактировать с русскими. Из яиц нам с братом получилась яичница. В вагоне с едой было плохо, запомнилась вот только яичница.

Атмосфера в вагоне была мрачная, помню место, где была уборная, женщины прикрыли это место простынями. Люди собрались в вагоне культурные, и казалось ужасным сидеть над дырой, когда на тебя все смотрят.

Помню, как переезжали Волгу. Мы все устали за поездку, полусонные, кто-то спал... переезжали по длинному мосту, река действительно была широкая. Все едем и едем, а мост все не кончается и не кончается. Странное было ощущение.

Запомнились Уральские горы. В Латвии все поля и поля. Когда проезжали Урал, я настолько был поражен, что буквально припал к окну и смотрел, как вздымаются вверх скалы, иногда они и небо заслоняли. Неожиданно въезжали в туннель, становилось темно, потом снова скалы, горы, поросшие лесом. Все время, пока ехали по Уралу, никого не подпускал к окошку.

Телега по самые втулки была в грязи, лошади в грязи по брюхо, повозки, в которых мы сидели, тащились по воде.

Следующее впечатление – Обская низменность. Бесконечные болота, без конца и края – болота и болота... Смотреть было, конечно, скучно, это уже не горы... Пересекали какие-то речушки, бескрайние болота казались чем-то таинственным. Расстояние – тысячи километров, и все болота, болота...

Мама узнала, что началась война. Мы в это время пересекали Обскую низменность. Приехали в Красноярск, всем приказали выйти из вагонов. Высадили с вещами. Начался ливень, все наши узлы промокли, о нас и говорить нечего. Нам все это показалось ужасным, не знали, куда бежать. Кто-то пытался подлезть под вагоны, но было страшно, что поезд тронется, произойдет несчастье. Отчаяние, толпа, безвыходное положение...

Запомнилась еще ночь, когда мы нашли разграбленный дом, без окон, без дверей. С вещами забрались туда, по крайней мере, дождь не поливал сверху, но мучили нас всякие мошки, комары. Помню, русские дети, очевидно, брошенные, без родителей, просили у нас хлеба. У мамы был какой-то кусок, она отдала, дети его буквально проглотили. Помню, как мама удивлялась – война только началась, где родители, почему дети голодные... Кто-то разговаривал с русскими, но рассказывать ничего нельзя было – сталинские времена, язык распускать нельзя, но русские говорили – да, началась война... Но мама сказала, что война началась только вчера, откуда же такой голод?

Наутро мама пошла по домам в поисках чего-нибудь съедобного. А так как она знала русский язык, она заходила внутрь, и у нее, с опаской, шепотом, русские спрашивали, кто мы такие и почему нас сюда привезли.

Потом нас посадили на пароход. Вероятно, это произошло на следующий день. Пароход был переполнен, и началось наше путешествие по Енисею. Природа там очень красивая, день жаркий, солнечный. Я был поражен – голые скалы сменялись лесами. Я все время бегал на нос парохода, река делала неожиданные повороты, а я смотрел, не отрывая глаз. Возможно, я получил солнечный удар – назавтра у меня ужасно болела голова, это мне мама потом рассказывала. Вероятно, была и температура. Не помню, как вылечился. Очевидно, недомогание длилось недолго.

Высадили нас, кажется, в Новоселово. Там находился причал, откуда на лошадях по горной дороге повезли нас в Ильтюково на Чулыме. Память сохранила только некоторые детали – как приближались к Ильтюково, там только-только наступила весна, вокруг мокрядь. Тепло, но дороги развезло, сплошная хлябь. Телега по самые втулки была в грязи, лошади в грязи по брюхо, повозки, в которых мы сидели, тащились по воде. Неожиданно застряли, лошади плыли, кучер стегал их кнутом. Сопровождалось все руганью, но тогда я еще по-русски не понимал. Вытаскивали лошадей из грязи с невиданной для меня жестокостью.

Следующий эпизод – заброшенная изба. Завели туда пять семей – мы, Зигурдс и Дайна Зариньши с матерью, госпожа Сердиене, госпожа Мисиня, у нее недавно родилась дочь и там же умерла, госпожа Звейниеце с дочерью. В доме было три комнаты, одна комната вместе с кухней, с русской печью. В одной комнате спали на соломе, застеленной простыней. Спали все вповалку. Третья комната, которую мы не отапливали, служила кладовой. Были еще небольшие сени. Это была типичная изба, с четырехскатной крышей. В каждой комнате по два окна. Вокруг земляная насыпь вместо фундамента – огороженное досками пространство шириной около полуметра, чтобы не подмерзало зимой.

Перед русской печью выложена плита. Как принято в России, на печи спали. Зимой мы, дети, там и прятались. Нас было четверо, младших – мы с братом и Зигурдс с Дайной. Дочке госпожи Звейниеце было, вероятно, лет 16 или 18, она уже была взрослая, спала на полу, на соломе. С первых же дней было трудно с продуктами, хлеба не было. То, что взяли с собой, уже съели. Мамы пытались купить что-нибудь, но за деньги достать ничего нельзя было, только в обмен на вещи – платья, платки, рубашки. Договорились у кого-то брать молоко, у кого-то муку, яйца. Вероятно, что-то давали по карточкам, но я этого не помню. Помню только, что мы пару раз из муки даже пекли хлеб. Видно, с тех пор и осталось у меня, что я тоже пек хлеб.

Женщины работали на колхозной сушилке. Руками приходилось вертеть веялку, чистили зерно. В первые же дни они научились воровать. Вшивали за подкладку пальто длинные мешки, приносили зерно домой, понимали, что иного выхода нет. Брали у соседей ручную мельницу – два чурбака, поставленные один на другой, горизонтально вбитые гвозди, сверху дыра, в которую сыпали зерно, и начинали вертеть. Получалась крупа грубого помола, из которой варили кашу.

Помню, вначале мамы доставали овсяную муку, в Латвии такой нет. Сначала мама варила овсяный кисель, серый, горько-кислый. И как ни хотелось есть, проглотить его я не мог. И мама тогда сказала – ничего другого у меня нет, подожди, когда по-настоящему проголодаешься. К вечеру я уже не вытерпел и съел эту горько-кислую массу. Вкус до сих пор помню. Была там и проблема с дровами. В этой связи помнится, как мы, дети, бегали по улице, собирали сучья. Ближайшие к нам леса были за 100 километров. Сучья можно было набрать по берегам Чулыма, на пригорках, зимой переходили на другой берег. Мамы тоже ходили с нами ломать сухостой. Одежды подходящей не было, обуви тоже, надевали какие-то лапти, сами кутались в тряпки. Дома пытались сучья эти перерубить, брали топор у соседей. Топор из Лиепаи ведь не захватили, женщины думали, что повезут на дачу...

Конфликтов с местными не припомню. С русскими детьми не общались, память не сохранила ни одного эпизода. Жили своей компанией. Ходили на речку удить рыбу. Рыбы было много, но не так просто было вытащить. Ни крючков не было, ни лески. Все булавки из дома утащили, согнешь – вот тебе и крючок. Иногда что-то поймать удавалось.

Интересно, что посреди села стояла вся сельскохозяйственная техника – тракторы, комбайны. Помню трактор на железных колесах. Вместе с русскими мальчишками взбирались, дергали ручки и рычаги, и когда их надо было завести, у взрослых ничего не получалось, потому что все было сломано, свинчено, испорчено. В следующем году мы переселились в другой дом, и нашу компанию разделили. Сердиене и Звейниеце отправились по Енисею в Норильск. И остались мы втроем и госпожа Зариня. Жили уже в доме, где была одна комната – она была и спальней, и кухней. Плиты не было. Мама, как человек талантливый, тотчас принялась складывать плиту, я должен был помогать. Где она достала кирпичи, я не знаю. Глины было достаточно, надо было только накопать ее за деревней. И зажили мы с плитой. Мама работала в колхозе – веяла зерно, сортировала и, естественно, приносила домой, чтобы не умереть с голоду.

Инарс с матерью Малвине. Латвия

За работу не платили, не помню, чтобы давали хлеб, одежда тоже износилась.

В школу не ходили, учились дома. Какие-то русские книжки у нас оказались. Русский язык освоил за несколько месяцев, свободно общался, читал. Мама учила меня и латышскому языку, заставляла писать диктанты.

В Ильтюкове Дайна и Зигурдс пошли в школу. Я сказал, что не пойду – то ли страшно было, то ли некомфортно. Мама сказала – в таком случае будешь учиться дома.

Так я превратился в переростка – вовремя не пошел в школу. Помню, что писали на газетных полях, тетрадки сшивали из газет, чернила делали из химических карандашей, перышко было стальное. Когда Дайна приходила из школы, я тренировался на газетах.

Мама выменяла гуся, в сенях устроили для него клетку, собрались его как следует откормить. Она приносила ворованное зерно, и мы кормили им гуся. К осени он так отъелся, что не мог встать. Зато на зиму заготовили жира, на котором пекли картофельные блины. Картошку ели на завтрак, на обед и на ужин – колхоз выделил нам полоску земли, так что была своя картошка. Не помню, где мама достала семенной картофель. Помню, как мы сажали картошку. Вскопать невозможно, так мы лопатой поднимали дёрн, закладывали картофелину и снова прикрывали ее дёрном. Так и засадили. Земля там была жирная, урожай могучий. Рос сорняк, но мы тут же, как только росток появлялся, вырывали его.

Навозом землю там не удобряли. У кого был скот, вывозили и складывали за селом, вокруг села высились горы навоза. Так решалась и проблема с топливом. За лето навоз высыхал, и его использовали, как торф. Естественно, и мы поступали также, жару давал много, очень эффективное топливо. Когда мы русским рассказывали, что платили деньги за удобрение полей, они думали, что мы им рассказываем сказки, смеялись.

Еще один эпизод – наших мам хотели отправить на Север, мы должны были остаться одни. Начальник вызвал, сообщил им об этом. Позже выяснилось, что ехать должны были другие, но они, видимо, откупились. И они ночью в совершенном отчаянии побежали в Новоселово жаловаться коменданту, искать правду. Ночью за ними гнались, но они успели на пароме переправиться через Чулым, и во тьме их потеряли. Так мы и просидели всю ночь, дрожа от страха. Мне даже привидения стали мерещиться, хоть я в них и не верю, а там видел. Разбудил Дайну и Зигурдса, брата разбудил – никого, естественно, не было. Утром мамы вернулись, успокоили, сказали, что приказ был ошибочный, начальник тоже получил нахлобучку. Так мы и остались.

Спустя какое-то время мы переселились в Новоселово. Наши мамы все время искали возможность уехать из деревни. Следующей, а может быть, той же осенью запаковали мы наши пожитки и перевезли их на телеге через горы, в Новоселово.

Госпожа Зариня нашла работу бухгалтера. В селе бухгалтера не было. Новоселово был такой большой поселок, городок. Сейчас он затоплен. Уехали мы с кошкой, очень медленно ехали. Приехали поздним вечером, дело было осенью. Дом, в котором мы поселились, оказался холодным, была только железная печурка. Зимой тепло пока топишь, перестанешь топить – через 10 минут холодно. Мама говорила, что по утрам у нас под носом висела сосулька. Было так или не было, но холод был страшный. Мама вставала первая, затапливала, чтобы и мы могли встать. В следующем году выделили нам дом получше, и мы перебрались, где стали жить вместе с русской женщиной и ее сыном. Теснота была невероятная – по сравнению с нашим прежним жильем. В одной комнате стояла плита, кухонька с хлебной печью, и в этой комнате ютилось восемь человек. Там происходили всякие «чудеса», и с этой женщиной ругались из-за места. После долгих уговоров она переселилась в дом во дворе, и в этой комнате остались две наших семьи.

Мама работала сторожем. Во дворе стоял большой ангар, считался заготовительный пункт, куда свозили упакованные в большие кипы овечьи шкуры со всего района. Помню такой эпизод. Как-то мама сказала, чтобы я пошел посмотреть, не остался ли на какой-нибудь шкуре кусок жира. Я взял нож и отправился. Маме идти было стыдно – взрослый человек, еще подумают, что пришла воровать. Жир был соленый, использовали его для жарки. Мама устроилась работать в артель – вязала определенное количество свитеров. Вязала по ночам... Платили за это копейки и давали хлеб, вот не помню, сколько. Часто хлеб был просто несъедобный из овсяной муки с какой-то примесью. Еще хуже, когда попадался хлеб, который нельзя было давать детям, русские называли его пьяный хлеб – с примесью каких-то ядовитых семян, от которых кружилась голова, как от водки. У детей после этого хлеба начиналась рвота. А в остальное время картошка, утром, днем и вечером. В форме

пекли картофельный хлеб – добавляли муку, которую покупали на рынке. Получалась сырая тяжелая буханка. Картошка была главным продуктом. Дали нам кусочек земли за Новоселовом. И тот же вариант с дерном и лопатой. Урожай был удивительный. Насыпали полный погреб, хватило на всю зиму.

Домой попасть не было никакой надежды. Когда жили в деревне, вертели тарелочку, и она предсказывала долгую дорогу – тем, кого увезли на Север... Я подсматривал в замочную скважину. Госпожа Мисиня была медиум. Потом я и сам пробовал это дело.

Перемены наступили в 1945 году. Можно было уже переписываться с Латвией, мама переписывалась с моей крестной, с папиной сестрой. Она тут же прислала нам посылку, в которой был сахар, несколько яблок, печенье. Когда мне досталось яблоко, я несколько часов ходил с ним по улице и грыз с таким удовольствием, пока не остался от него только черешок. Там яблок не было, только дички, которые русские срывали еще зелеными. С нашей точки зрения, они были несъедобными. Летом ели всякие травки, почки, молодые ростки. Какие-то из них я нашел потом и на берегу Аматы, вкус точно такой же. Ели стебли, как у рабарбара, так же шкурку сдирали. И с почек снимали оболочку и съедали. Невкусно, но русские ели, и мы следовали их примеру. Очень ценным считался корень лакрицы, длиной около метра, залегавший на глубине примерно 15 сантиметров. Вырвать его можно было без труда. И жевать целый день серединку, как жвачку, сладко-горьковатую. Возле хлева мама выращивала огурцы, несколько тыкв. У нас их воровали, сохранить было трудно. Бывало даже так, что соседка посылала своего сына, чтобы он на рассаду писал, и тогда ничего не росло. Мы никак не могли понять, почему это огурцы сохнут, пока я его однажды за этим делом не застукал и не пожаловался маме. Всякие пакости чинили! В Новоселове русские относились к нам, к детям, более агрессивно, чем в деревне. Когда встречали на улице, дразнили. Вслед нам летели камни. Одному ходить по улице было опасно. Потому я и в школу не ходил. Когда мне исполнилось 10 лет, мама сказала, что пора в школу, потому что неизвестно, когда мы попадем домой... Дайна и Зигурдс в школу ходили. Ну, и я собрался с духом, пошел в 1-й класс. Мы, переростки, все были отличники, любимчики учительницы, она нас все время хвалила – какие мы старательные и талантливые.

Пошел во 2-й класс, и тут разнеслась весть, что энтузиасты собирают детей и увозят в Латвию. Мама узнала об этом, и они с госпожой Зариней решили, что и мы должны ехать, хоть и не сироты. Нужно было пойти на этот драматический шаг и отправить нас к бабушке. Они уже списались. В конце октября поехали, возможно, это была последняя группа – 102 или 105 человек. Вагон был переполнен, спали на багажных полках, зато ехали домой.

Нас четверых – меня и брата, Дайну и Зигурдса – доставили на пароходе в Красноярск. Расставание было болезненным, но я и по сей день благодарен маме, что она отправила нас домой.

Помню, как мама получила известие о смерти отца. Ей удалось выяснить, в каком лагере находится отец. Его отправили в Кировск. Удалось обменяться несколькими письмами, когда мы еще жили в Ильтюково. Папа просил прислать каких-нибудь продуктов. Мама при всей нашей бедности насушила сухарей и собиралась отправить, когда пришла весть, что отец умер от воспаления легких. Это случилось в 1944 году.

Обратный путь был нелегким, начали болеть, все переболели малярией, приступы у меня часто повторялись. Обострилась болезнь у меня в лагере, где нас собирали, но, к счастью, не в тяжелой форме, лечили хинином. Поговаривали даже, что меня оставят. Зигурдс, старший в нашей компании, уговорил, чтобы меня отпустили.

В Риге болезнь вспыхнула с новой силой. Врачи вначале не могли понять природу заболевания, здесь с ней сталкивались редко. Пока установили диагноз, прошел чуть ли не месяц. И снова лечили меня хинином. В Риге я жил у маминого брата Ольгерта Яунарайса. Когда вылечили, я уехал к бабушке в Лиепаю. Мама осталась, но через год не выдержала, и они с госпожой Зариней тайно приехали к детям. Они просто не могли больше выдержать – мне было 12 лет, брату восемь.

В Лиепае прописаться было невозможно, прописалась мама в Вентспилсе, работала в колхозе бухгалтером. Чека выследила маму, в 1949 году ее арестовали и отправили в лагерь. Работала на лесоповале, по колено в воде. После этого ее отправили на вечное поселение за Красноярск. Вернуться она смогла только в 1956 году. Она тут же приехала, и мы снова были вместе. В октябре я вернулся из армии, а мама из Сибири. Я служил в стройбате. Я не имел права служить в обычных войсках, так как был в Сибири. Было совсем неплохо – был и художником, был и писателем, домой вернулся через два года.

МАРУТА ХЕРМАНЕ (ЯУНЗЕМА)

родилась в 1942 году

14 июня 1941 года вывезли родителей. Отца в своей жизни я так и не видела – родителей разлучили на станции в Салдусе. Жили родители в доме «Криевини» Кабильской волости.

В четыре утра в наш дом ворвались четверо, с оружием. Всех с поднятыми руками поставили к стене и принялись обыскивать дом. У отца в то время жила 84-летняя крестная. Соседский дом «Каннениеки» национализировали, и хозяева вместе со старой собакой стали жить в доме отца. У него спросили, члены ли они его семьи, на что отец ответил утвердительно, так как не знал, что ему грозит. Так всех и загнали в машину. Старую крестную солдат подхватил на руки, раскачал и, как мешок с картошкой, закинул в машину. Отец взял полушубок, чтобы было на чем сидеть в машине. С собой разрешили взять 30 килограммов, но от волнения не взяли ничего. Мама поддерживала под руки обоих соседей стариков, а папа вышел с полушубком в руках.

На станции Клюквенная Красноярской области их высадили и согнали к школе. На следующий день приехали «купцы» на быках и лошадях. Через два дня привезли в Кожелак, где уже стояли бараки. Началась таежная жизнь, им вручили пилы, отправили валить деревья. В лесу мама проработала 11 лет.

Я родилась в 1942 году. Иисус родился в хлеву, я родилась в баньке. Врачей не было, принимала меня русская женщина. Из одежек у меня была та, что осталась от умершей в пути девочки, ей уже ничего не требовалось... Детям, которые приехали из Латвии, было труднее, чем мне. Белого хлеба я не видела вплоть до 1954 года. Не знала, что такое рис и манка. Утром, когда выносили ведра с помоями, выбегала на улицу, подбирала очистки. Правительство выделяло детям 200 граммов хлеба. Маме, которая работала в лесу, полагалось 400 граммов.

В школу, в 1-й класс ходила, пока не выпадет снег, потом уже нечего было надеть на ноги. Смотрела в окошко, как идут другие.

Потом нас переселили ближе к школе, в другой барак, надо было только перебежать через улицу, и ты оказывался в классе. Утром дождусь маму, заберу у нее валенки и в школу, там хожу босиком, валенки ставила сушить к печке. Так поступали многие дети.

12 сентября 1954 года пришел комендант. Мама каждый месяц ходила отмечаться, что не сбежала. Однажды сказал, чтобы пришла к нему. Ну, мама и пошла, и он ей сказал, что она свободна. Мама оформила документы, и в 1954 году мы собрались и уехали домой, в Латвию.

Когда солнышко пряталось за горами, мама всегда говорила – там наша Латвия, туда мы, дитя, вернемся. Вероятно, это дало ей силы выжить.

В Москве с Белорусского вокзала надо было проехать на Рижский вокзал. Как проехать на метро, мы не знали. Какой-то русский мужчина посоветовал ехать на такси, тогда наверняка не заблудимся. На Рижском вокзале мама оставила меня около вещей, а сама отправилась искать какую-нибудь еду и компостировать билеты. А когда вернулась, целую охапку белых батонов несла, как дрова. Много-много... Это был первый хлеб, купленный без талонов. В Риге мама, выйдя из поезда, встала на колени и стала целовать перрон, и плакала, плакала, лицо ее испачкалось, и я плакала вместе с ней.

С вокзала мы направились на автовокзал, встали в очередь. Ехать нам надо было в Мадону. В очереди все смотрели на нас – на ногах сапоги, на маме фуфайка, на голове боль-

Когда солнышко пряталось за горами, мама всегда говорила – там наша Латвия, туда мы, дитя, вернемся. Вероятно, это дало ей силы выжить.

шой пуховый платок. Из очереди вышел мужчина, подошел к нам, сказал, чтобы мы прошли в начало очереди, иначе билетов нам не достанется. Он, вероятно, понял, что мы едем издалека. Это была первая протянутая нам рука помощи в Латвии. Поехали в Мадону. Поездку вспоминать не хочется. Впервые ехала автобусом, сидели спиной, дорогу не видно, автобус забит. Стало меня мутить. На первой же остановке вышла и сказала, что дальше не поеду. Мама уговорила, сказала, что ехать осталось недолго... Приехали в Мадону, а нам надо было еще дальше, в Пакули. Какая-то девушка сказала, что автобуса больше не будет, и отвела нас в гостиницу. Впервые за свои 12 лет я спала в кровати на белых простынях. Наутро нас разбудили, и мы поехали дальше. Приехали к маминой маме и сестре. Это было 25 октября. Первым делом баня. Впервые в жизни ела на завтрак творог, масло, вареное яйцо. Поели, и стала я тянуть маму за юбку – посмотри, сколько еще хлеба на столе осталось. Мама погладила меня по голове и сказала: «Слава Богу, теперь всегда так будет». Так и было. Мама стала работать поваром в школе-интернате, я пошла в 4-й класс. В России я уже окончила пять классов. Дела с латышским языком шли туго, разговаривать мне было не с кем. Помогала маме – колола и носила в школу дрова, чистила лампы.

Колхоз продал бракованную корову, у нас появилось свое молоко. Осенью, в октябре, еще косили, заготавливали дрова. Было нелегко, но мы были на Родине. Мама и сегодня еще с нами.

Начало в школе было трудным, но я быстро освоилась. Думала по-русски. В 5-м классе думала уже по-латышски, по всем предметам у меня были пятерки, четверка только по латышскому языку. Вначале стыдно было говорить неправильно. В 4-м классе надо было сдавать экзамен, за диктант получила тройку, и меня перевели.

В Сибири жили с нами и поволжские немцы, немецкий язык освоила быстро.

В Сибири зимой было трудно, плохо было с едой. Сообщение или по реке, или на лошадях. Трудности были с солью, с сахаром. Ели много чеснока. В одной руке картофелина, в другой головка чеснока. Хлеб ели отдельно.

Мать Алисе в Латвии

Слева: мать Алисе, маленькая Валентина, Марута. В Латвии после Сибири

Летом ели луковицы лилий, тушили с лебедой, пекли лепешки, была черемша. В лесу ягоды – малина, черника, брусника. Собирали кедровые шишки. Трудно было зимой, живот большой, а есть все время хочется. Наедимся ягод – живот набьем, но так хочется хоть кусочек хлеба, хоть крошку. Мне было проще, чем детям, которых привезли взрослыми. Когда мама работала в лесу, жили в бараках. Построили их бывшие заключенные, в них было холодно. Спала в бараке одна, на стене напротив висел портрет Сталина, он на меня так сердито смотрел, а у меня не было сил встать и повернуть его лицом к стене.

Крестная папы умерла в 1942-м или в 1943 году, соседка из «Каннениеки» умерла, когда мне было четыре года. Помню, как она лежала.

Вначале все надеялись вернуться домой, ничего не сажали, только уж потом зашевелились. Земля там была плодородная, картошка вырастала крупная. Только хранить было негде, погреба не было. У мамы с собой был только большой котел, в котором варили корм для свиней. Менять нам было нечего. 18 ноября и Рождество – это были святые дни, когда все собирались вместе. Громких разговоров не вели. На Рождество устраивали большую стирку и баню. В школе мне предложили вступить в пионеры. Я отказалась. В доме таких разговоров не вели. У меня спросили – почему? Сказала, что спрошу у мамы. Маму вызвали в комендатуру и сказали, что могут отправить и дальше. Вот так я вступила в пионеры. В школе нас было 10–12 национальностей, учились все на русском языке.

Помню, как мама пришла и спросила – ты еще жива? Я смотрела на маму и не могла понять... Когда в то утро мама ушла на работу, она оставила мне две картофелины и кусочек хлеба.

Когда я родилась, молока у мамы не было. Разжует хлеб с сахаром, завернет в тряпочку, так я и сосала эту «соску», пока не стали мне давать баланду. Цельное молоко давать было нельзя, мне тут же пришел бы конец...

Об отце ничего не знали вплоть до времен Атмоды, получили справку, что отец умер в Вятлаге в 1942 году. Из архивных документов узнали, что правая нога у него была прострелена...

Марута среди высланных. Сибирь

ВИЯ ХЕРТЕЛЕ (СМАЛЬКЕ)

родилась в 1928 году

Папа в тот день был на курсах. Часов в девять утра во двор въехала машина. Хозяйство у нас было небольшое. Я тянулась больше к отцу, мальчики – к маме. Мне было 13 лет, брату восемь, младшему два года. Русские поднялись на чердак, принесли хлеб, копченое мясо, все покидали в мешок и в машину. Мужскую одежду, шубу, перину тоже.

Поехали к соседям, к волостному старосте, забрали их. У нас из еды был только хлеб да копченое мясо. В Елгаве к окну подошла женщина и протянула мешочек с сахаром, давали его с хлебом младшему братишке. В вагон заносили еду в ведрах, сверху плавало красное масло. Мы отказались.

Со всех сторон виднелись горные вершины. В нашем вагоне и плакали, и пели. Чаще всего «О родине песня печально звучит». В дороге никто не умер.

Отец вернулся с курсов и увидел разоренный дом, через неделю началась война. Он заведовал школой в Айзпуте. В 1949 году его тоже выслали. После войны мы писали, думали, что скоро вернемся домой. У младшего брата был день рождения, старший брат к тому времени уже умер. У отца была любовница, к ней я и приехала, когда меня привезли в Латвию.

Сначала мама ходила на работу, я сидела с мальчиками дома. Не скажу, чтобы там многие умирали. Разнеслись слухи, что детей увозят в Латвию, нас не записали, мама побежала в контору. «Ах, хотите ехать?» И услали за Полярный круг.

В августе высадились на берег. Вокруг лес, обрывистый берег, камни. Обменять ничего нельзя было, местные и сами были бедные. Но у них хотя бы корова была, какая-никакая картошка. В первую зиму давали немного хлеба, в 42/43 году. Зимой ходили в школу. Брат был в агонии, стал декламировать «Несжатую полосу», как только закончил, вздохнул и умер. Гробик стоял в комнате, я взобралась на него, упала, гроб перевернулся. Я очень плохо помню эти трагические события. За могилами там не ухаживали. Это было самое ужасное...

Вдруг нас всех вышвырнули из Бондарки, а там жило очень много латышей.

Мы только потом все поняли. Это были Мелвигсы, это они сделали ключ от колхозного погреба и свободно туда ходили. Чем больше народу, тем меньше картошки. Мама тоже принесла картошки. Так и жили за счет воровства, весной ели травы, от них люди пухли.

Мама была простая деревенская женщина. А тот, кто знал язык или у кого было золото, договаривался с капитаном парохода и бежал на юг, ближе к Красноярску. Там-то тоже нелегко было, но были хоть школы. У мамы в первом же селе, где мы жили, украли драгоценности. Постепенно поняли, что домой не попадем, стали сажать очистки. Какая-то картошка выросла.

1944 год? Да, может быть. Было замечательное весеннее утро, по реке плыли льдины, были и с дом величиной. Из-за реки стали кричать. Парни бросились к лодке. Сказали, что кончилась война. Но ничего не изменилось.

Выбрали меня почтаркой. У меня была красивая лошадь – Гнедуха. На полозьях стояла плетеная корзина. Выдали оленью шубу, шуба была как рубаха. Отвезла почту, возвращаюсь домой, пою. На мне ватные штаны, фуфайка, валенки. Чувствую, похолодало. Остановилась, сошла с саней, пока шубу

У мамы в первом же селе, где мы жили, украли драгоценности. Постепенно поняли, что домой не попадем, стали сажать очистки.

натягивала, лошадь уже далеко ушла. Я бегом, и лошадь бегом. Местами ледяные горы. Дорогу от села до села укатали, вдоль обочин воткнули елки. Я подумала – если лошадь свернет с дороги, упадет, меня засудят, и мне конец. Скинула валенки, босиком побежала. И лошадь бежит, я остановлюсь, и лошадь остановится. Скинула и фуфайку, только тогда и догнала. Повернула обратно, одежки подбирать. Я вообще-то понятливая была, считалось, что образованная – четыре класса. Была еще там моя подружка Дзидра, Хелвигсы – три сына, семья Стиле. Аболиньши, у них тоже ребенок был. Вначале не собирались, не пели. Там никакой романтики не было. Сажали картошку, так я во все концы картошку засунула, девочки меня тряханули, вся картошка и высыпалась. «Все, что надо, родине дадим». Потом-то уж подружились, лучшими подружками стали.

Русских тоже нельзя уж так осуждать. Мы для них были невиданные птицы. Шелковые платья, туфли, пальто, чего они в жизни не видели. Это потом грязные мы были. Воду из реки носили. Посуды не было, носили воду в выдолбленных емкостях. Не было мыла, не было продуктов, казалось, так и должно быть. Невероятно, но так оно все было.

Мы знали, что в 1949 году снова высылали. Отец был из богатой семьи. Мама из семьи мелкого крестьянина. С родней не особенно зналась. После войны ничего почти не изменилось. Только привезли на барже 12 мужчин из лагерей. Ректора московского университета, рентгенолога, портного. Жизнь чуть-чуть оживилась. У рентгенолога было много книг, он давал нам, читал возле железной печурки.

Отец? Нам написала любовница отца, что его забрали. Мы тогда уже телочку купили. Потом уж нам прислали свидетельство о смерти отца. Мы не сильно плакали, жизнь человеческая уже не имела никакой цены. Латыши умели ухаживать за скотом, а одна скотница очень воровала, я на собрании выступила. Ну, меня и послали на место этой Зины. Стала я работать на молокозаводе, там отъелась. Обрат можно было пить, сколько хочешь. В 1953 году умер Сталин. Взяла я свекольных чернил и написала Маленкову – почему мне не разрешают жить на Родине. Через месяц пришел ответ – можете уехать в Латвийскую республику. Я ни о маме не писала, ни о брате. Вероятно, в юности человек эгоистичен. Они разрешили, и я спокойно отправилась домой.

Отцовская любовница жила недалеко от Айзпуте, в крохотной черной хибаре, ухаживала за колхозными свиньями. Я подумала, избави Бог, не хочу идти в свинарки. Уехала в Лиепаю, там жил брат отца с женой, детей у них не было. А они меня не пускают. В фуфайке, с молочным бидоном, чего эта русская здесь потеряла... Не нужна была я им. В Салдусе жила двоюродная сестра. Я ей благодарна, она меня приняла. Моя дорогая тетя Хертеле заболела, рак, нужен кто-то, чтобы ухаживать. Получила временную прописку, тетя умерла, и мы вдвоем с дядей жили, когда-то он был большим чиновником, вероятно, богатые были. Он меня кормил. Устроилась в туберкулезный диспансер регистратором, проработала там 38 лет.

Мама, брат? Мы переписывались. Мама приехала в 1957 году, на Лиго. Я в 1957 году вышла замуж. Маме в Айзпуте дали комнатку. Брата взяли в армию, он женился и уехал в Хабаровск. Фактически уже 25 лет о его семье ничего не знаем, жена у него была русская, она ехать не хотела. Брат жены был в Клайпеде, дочка ездила. Потом сказали, что сын брата погиб в Афганистане.

Брат Айварс Хертелис всегда восхищался природой в Хабаровске. Огромной могучей рекой. Отсутствие отца не ощущалось, у большинства ведь отцов не было. Так я думаю и по сей день.

Муж пил, мне было 26 лет, я очень хотела ребенка. Думала, будем жить, может быть, пить перестанет. Развелась. 30 лет одна прожила. Окончила восемь классов в вечерней школе.

В театре нужен был русский переводчик для трансляции. Волдемарс Пуце спросил, какое у меня образование. Маловато, говорит. Я сказала, что столько книг прочитала, что и образованный столько не прочитал. Отработала 17 лет. Дети тоже много работали. Сын плохо слышит, остался в Риге. Дочка есть. Дал все же Бог. Завидую тем, кто верит в Бога, в церковь может ходить. А мне пожаловаться некому. Разве же Бог в церкви? Я так не думаю.

СКАЙДРИТЕ ХОФМАНЕ (БИРЗНИЕЦЕ)

родилась в 1928 году

Я была единственным ребенком. Родители занимались своим хозяйством. Были и работники, которые помогали обрабатывать землю. Все, что намолотят, отдавали нанятым на лето работникам. На зиму оставались один работник и одна работница. Парень был из Литвы. Наш дом был его первым и единственным местом работы. Порекомендовал ему нас один из соседей. Отец относился к нему как к брату.

Ходила в школу, в 40-м году училась в 4-м классе. Училась в Бенеской основной школе. И хотя наше хозяйство было в Сникерской волости, молоко возили на Бенеский молокозавод, и я с возчиком ездила в школу. За это отец платил школе деньги, так как училась я не в своей волости.

В марте 1941 года хозяйство наше национализировали. Переселились к дяде, который жил в трех-четырех километрах от нашего дома. Но этого оказалось мало, 14 июня пришлось уехать еще дальше.

13 июня мы с бабушкой были на кладбище. Вероятно, это было сделано намеренно, чтобы меня не было дома, когда отец собрался уходить. Отец, дядя, соседи решили спрятаться, так как до них дошла кое-какая информация. Я, конечно, о таких вещах тогда ничего не знала.

Жили мы у дяди в комнатке на втором этаже. Вещи так и стояли не распакованными. Я ни о чем понятия не имела. Забежала к дядиным детям. Вообще-то они мне не двоюродные братья, это дядя был мамин двоюродный брат, они, значит, троюродные. И вот уполномоченный, главный из них, подошел к этажерке. Там были старые карманные часы, от дедушки или не знаю, с каких времен, я ими игралась. Они протянули мне эти часы, чтобы взяла с собой. А куда я их дену? Отнесла мальчикам.

Сказали, сколько можно с собой взять. Всего 100 килограммов. А что брать? Что-то собрали. У многих, с кем потом разговаривали, в субботу и хлеб еще стоял в квашне, обычно хлеб пекли в субботу. Сколько было, столько и взяли.

Посадили нас в грузовик. Бабушку не тронули. Поехали я и мама, отца дома не было. Моросил дождик. Выбежала тетя, вынесла шерстяной платок, укрыться. Главный разрешил мне сесть в кабину, сам запрыгнул в кузов.

Отвезли нас в Ауце. Еще по-настоящему не рассвело. В вагоне была только одна женщина с крохотным ребеночком, вероятно, был ему месяц, может быть два. Устроились мы наверху возле окошка. Смотрели, кого везут. Подъехала грузовая машина, в ней наша родня – семья маминого двоюродного брата, тетя с дочкой. И папа там же. Он узнал, что нас забрали, пошел и сам сдался.

В Ауце его сразу же отвели в другой вагон. Удивительно, но пришел солдатик и принес маме папины карманные часы, ремень. Папа взял с собой иголку и нитки, солдатик и их принес. У папы не было одеяла, маме разрешили отнести ему одеяло. Просто чудо какое-то. Ей единственной из нашего вагона, насколько помнится. Женщине разрешили подойти к вагону с мужчинами.

Дети народ любопытный. В Елгаве сунула голову в дверную щель. И вскрикнула – увидела, как мужчины выходят из вагона, и среди них мой отец. Он забрасывает свой мешок с вещами за плечи и уходит. Я, конечно, закричала. Все тут же сбежались. Вот тогда я его видела в последний раз.

Начинались тяжелые работы. Мама сказала – пойду деревья валить. Я ответила – одну тебя не отпущу, пойдем работать обе.

В вагоне мы вначале ехали наверху, но потом оказались внизу. Нас просто выдавили. Подвели к вагону наших родственников, все стали кричать, что нет места, что много вещей. Нам, латышам, всегда ведь нужно поудобней. Вот их и отвели в соседний вагон. Им разрешили взять с собой вещей намного больше, это нас и спасло. У них и одежды было больше, и еды.

В Клюквенной нас разделили, кого куда. Мама знала русский язык, пошла договариваться, чтобы нас взяли вместе. Долго пришлось уговаривать, пока нас не пустили к ним. Так вагон, в котором мы ехали, я выпустила из вида. Оказалось, что их отвезли дальше на юг, а нас на север. Следующей весной нам с мамой велели собираться. Там многих увозили.

Было это на станции Клюквенная, километрах в 100–200 от Красноярска. Привезли нас в тайгу, на лесоразработки. Стояли какие-то домишки. Мама ворочала бревна, я грузила доски. В первый год я нигде не работала, мне же было всего 12 лет. Мы с подружкой ходили в лес по ягоды. Совершенно не боялись тайги. Следующей весной снова стали всех увозить. А так как тетя нянчила ребенка начальника, нам удалось остаться вместе с ними. На сей раз спаслись. Чем за это мама расплатилась, не знаю. Одну вещь знаю – это был серебряный кубок, что еще было, не знаю. В третий раз, когда мы должны были уехать все четверо, спасаться было уже нечем. И снова нас привезли в Клюквенную, потом поездом до Красноярска, точнее, до станции Енисейск. И спали мы на улице, на огороженной площадке, тут же были и наши вещи. Потом куда-то переселили. Мама ходила работать. Дети были предоставлены сами себе. Бабушки стерегли вещи. Наконец посадили на пароход. Сначала на пароход, потом на баржи.

Приехали в поселок Артюгино Богучанского района. И снова поделили по участкам – валить лес. Надо было работать, хотелось есть. Мне уже было 13 лет. Детям до 13 лет давали 300 граммов, мне уже 200, бабушке вообще не давали ни грамма, только тем, кто работал. Ну, и стала я выполнять разные подсобные работы, чтобы заработать хлеб. Это была единственная мысль.

Начинались тяжелые работы. Мама сказала – пойду деревья валить. Я ответила – одну тебя не отпущу, пойдем работать обе. Стали пилить деревья, я пилила лучной пилой, мама жгла сучья, я жечь не хотела. Так мы ту зиму вдвоем и отработали. Было это уже после войны. Тем, кто мог что-то обменять, было немного лучше. Не продать, а обменять. У нас же ничего не было. Что в поле можно было собрать, то и было. Щавель, еще что-то. Возвращались с работы, несли с собой полмешка щавеля. Свекольные листья, крапиву, ну, что еще можно было... У тети был с собой котел литров на восемь. Варила полный на всех, называлось это варево супом. Пара картофелин и ложка-две муки для заправки, и когда мы вчетвером садились, на завтрак оставалась капля. Так вот мы жили.

Подсобнику полагалось 500 граммов хлеба. Я считалась подсобником, на большую норму претендовать не могла. На основной работе получали 600 граммов, если норму перевыполнишь, и 800 выходило. Мастер людей знал, выслеживать перестал. Говорили, что вначале приходил в лес, прятался за деревьями и смотрел, как женщины работают.

Когда нас привезли, люди относились к нам по-разному. Там было много латышей еще с прежних времен, с Пятого года. Они говорили – то, что вы за один день съедаете, нам хватило бы на пару недель. Мы тогда еще не знали, что нас ждет. Только потом поняли, когда все подъели. Конечно, 43-й, 44-й годы были самые трудные, все ведь съели. Единственное, что осталось, – мамины летние кожаные туфли. Я понесла их продавать. Туфли были совсем новые, ну, может быть, она их надела один или два раза. Я предложила, а мне в ответ – подошва клееная. В конце концов обменяла кожаные туфли на ведро картошки. Пожалели и налили еще пол-литра молока.

Тетя картофелины обрезала, ростки посадили, остальное съели. И начали мы сажать картошку. Вырастет, и все сначала. Купить ничего невозможно. Деньги никому не нужны были. Разве что купить в магазине хлеб и заплатить за тарелку супа, что нам давали.

Поблизости школы не было, в соседнем селе школа была, но я должна была тогда работать. Если бы не надо было работать... Меня уже зачислили в категорию настоящих рабочих, об учебе нечего было уже и думать. А заочного обучения там не было. Соседнее село, где была школа, находилось в пяти километрах.

Потом я стала работать в конторе. После леса я заболела. Летом еще на плотах работала. Осенью нас отправили помогать другому участку. Жизнь там была неплохая. Выделили нам продукты, на берегу реки построили шалаши. Так мы на берегу и жили. Выбрали из нашей компании повариху – было нас шесть женщин и 14 парней. Сказали нам, что в кол-

хозе лошадь сломала ногу. Ребята пошли, купили мяса, и стало просто замечательно. Три раза в день горячая пища. У нас была своя республика.

Осенью мне пришлось вернуться в село – там нашлась для меня другая работа. Назначили бракером. Принимать бревна с лесовозов. Я-то дура была. Месяц кончается, оказывается, надо было план выполнить, начальство мне и подсказало, как надо этот план выполнять. Записывать больше бревен, чем из лесу вывезено. И тут я заболела, но на работу ходила – дома остаться не могу, иначе меня разоблачат. Столько-то ума хватило. Сижу у костра, мужики привозят бревна, я на дощечке отмечаю, домой приду – кубатуру подсчитываю.

В конце месяца совсем я сломалась. Месяц так жила, крещение огнем прошла. Оказывается, была у меня корь, я еще и простудилась, перешло на легкие. Это было 30 ноября, когда заболела, а 28 декабря – никогда этого не забуду – мама говорит: слава Богу, сегодня 39,6. На этом моя карьера на фронте физического труда окончилась.

Мастер был очень хороший, отрядил меня в контору, оформлять документы, а осенью совсем забрал в контору. Так я переселилась в так называемый центр, мама осталась на старом месте. Потом и мама ко мне перебралась. В малюсенькой комнатке жили мы вместе с одной девушкой. Спали на кровати, а под кроватью картошка замерзла. Барак старый, пол земляной, окно чуть не в землю вросло. Там дома строят без фундамента.

Познакомилась я тогда со своим будущим супругом, осенью корову купили. Тогда-то мы зажили! Были сыты, молоко свое, какая бы та корова ни была. Удои с нашими не сравнить – день и ночь. Коровы там днем в хлеву стояли, паслись ночью. Из-за мошки скотину днем выпускать нельзя было – загрызут. Мне кажется, сейчас они и у нас тут появились. Весной укусит, краснота появляется и зуд. Чтобы сена для коровы накосить, надо было через Ангару переправляться, а река широкая. Там в лесу и косили. Где луг, там земля считалась колхозная, нам туда нельзя. А чтобы в лесу косить, надо было накомарники надевать. Блузка или рубашка обязательно с длинными рукавами, штаны длинные. В летнем платье никуда и не выйти, а чтоб на работу, так об этом и речь не шла. Что жарко, что холодно – не выйти. Все лицо в экземе, никак не вылечить. Жара, и эта шляпа на голове, да еще потеешь. Бидончик был с водой, на случай если пить захочется, так я все лицо ополаскивала, чтобы не зудело, лицо было как географическая карта. Так мы там и жили, пока не пришло освобождение.

А до этого мы побывали в Латвии в отпуске. Тоже было интересно – обратились за разрешением уехать в отпуск. Местный комендант приехал, сказал, что разрешения пока нет, поезжайте, говорит, сами в районный центр. Мы, конечно, поехали. Таких строгостей уже не было, уже так не следили, разрешение святого отца не требовалось. Шел 1957 год. А так как я работала в конторе, в районе знала всех, в центральной бухгалтерии все знакомые. Обратилась я к заместителю главного бухгалтера. Она нас очень хорошо понимала, несмотря на то, что была партийная. Удивительно отзывчивый человек. А разрешения все нет и нет. Отвела она нас к партийному секретарю МРС, он заикался, но как-то разобрались. Позвонил он в партком, чтобы нас приняли. Он вошел, я ждала. Потом позвали меня – что это вы вздумали уезжать? Тут заходит главный инженер, заходит директор. Тоже интересуются. Потом зашел наш комендант и быстро выскочил, как дверью хлопнет. В конце договорились, что поедем с секретарем в Красноярск, в главное управление за разрешением. Не прошло и получаса, как возвращается наш комендант и достает из кармана бумагу. Просто не хотел нам давать, разрешение на поездку в Латвию у него было-то давно.

Так нас тормозили. Пришлось неделю там пробыть. Полетели в Красноярск, оттуда в Москву. Человек ни лимонада не видел, ни вафель, конечно, хочется. Самолет взлетел, ну, и у меня взлетело... Полулежа летела. Потом из Москвы в Ригу. Здесь облуживание было совсем другое, вообще все по-другому.

Прилетели в Ригу, остановились у дяди. Назавтра мой супруг пошел в Управление внутренних дел. Я не могла – мой случай был тяжелее: отец айзсарг, мама айзсарг, молчать мне надо было. Погостили. В месте назначения надо было отметиться – тут мы, тут, за бугор не улетели.

Такая она была, наша свобода. Нас не сразу освободили. Оказывается, решение уже было, да и как – мне в виде исключения. Семье мужа – нецелесообразно. Что поделаешь. Об отце ничего не знали. Он сам пришел в волость, когда нас взяли. Та же машина, которая нас привезла, вернулась, забрала наших родственников, а когда ехала мимо волости, им сказали – одного мы тут поймали. Хотя он сам пришел. Знаю, что мама писала, искала, куда мужчины делись. Не помню, в каком году получили

свидетельство о смерти отца, которое потом пригодилось. Мама захватила с собой сберегательные книжки за последний год. Денег там было немного – у мамы, кажется, 600 рублей и у отца 500. Я потом эти деньги получила. Мама получила и я. Было это уже после войны. В сельсовете дали мне бумагу, что я единственная наследница. Я и была одна. Свидетельство о смерти было, и нам эти деньги прислали. Вот мы и купили корову.

Написано было, что отец умер от гриппа. Умер он 12 января 1942 года. Он болезненный был, мучился бронхами. Весной и осенью всегда болел. Да еще эти нечеловеческие условия.

Мама умерла 21 мая 1956 года. Долго болела. А когда сказали, чем она больна, было уже поздно. И хоть отвезли ее в районную больницу, а потом в Красноярск, было поздно.

Как только Сибирь вспомню, так сразу же появляется мысль о хлебе. Это была единственная мысль – неужто же настанет время, когда мы сможем есть хлеба столько, сколько захотим? Неужели же настанет такое время? И вот, слава Богу, оно настало, мы едим не только хлеб, но и мясо, и масло, хотя сейчас в моде маргарин. Учитывая, что наши долгие годы в Сибири приравнены к Северу, пенсия у нас больше обычной, и масло мы можем себе позволить.

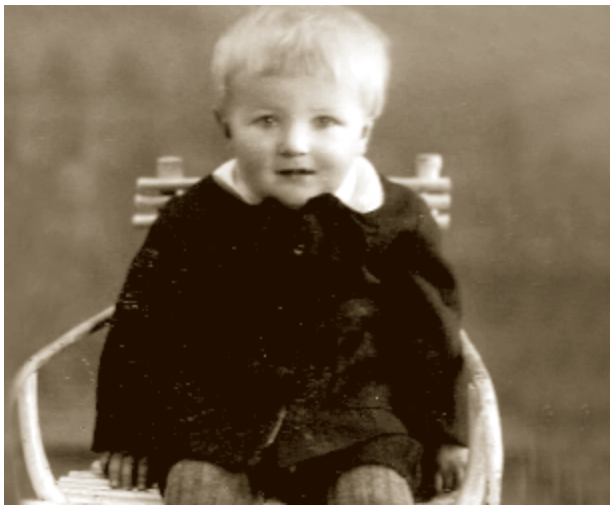
Я и сейчас не могу выбросить ни одну корочку. Соберу и отвожу скотине. Когда к родне в гости приезжаем, привожу с собой для скотины. Если вижу в мусоре хлеб, просто как ножом полоснет по сердцу.

Нам посчастливилось. Мы были вместе с родной семьей, у них с собой было много чего.

Там, где мы жили, была еще одна семья. Но там уже знали, что отца с нами разлучили. И в той семье хозяина удержали, не дали ему пойти в волость. Соседи наши выжили. Сейчас мальчик, которому в то время было шесть лет, в Гамильтоне, в Канаде. Наши старички умерли.

Как оценить все, что было пережито в Сибири? Было это ужасно. Ладно, мужчины, как говорится, согрешили перед советской властью. А женщины, дети?

Скайдрите с мужем Волдемарсом



ЭДВИНС ХОФМАНИС

родился в 1931 году

14 июня 1941 года нас вывезли. Когда в Сибири созревали кедровые орехи, женщины на дерево взобраться не могли, все мужчины были на фронте, и делать это пришлось мальчишкам – таким, как я. В 1941 году мне было 10 лет. Забирались на кедр – это было трудное занятие, стволы были смолистые, смола оставляла следы на нашей одежде. Шишки висели на самых кончиках веток, надо было ползти, рисковать – а вдруг упадешь. Портили и сами деревья, но мы-то этого не знали. Ломали ветки и бросали вниз. На животе смола не отдиралась месяцами, никаких растворителей не существовало. С русскими детьми держались на дистанции.

Осенью надо было идти в школу. Язык... как было, так и было... Я даже не знаю, каким образом мы освоили язык вполне нормально. Выхода не было, русский язык повсюду, без него никуда, не обойдешься. Учились в 1-м классе, разные детишки – кто младше, кто старше.

Весной мамы наши стали думать, что́ бы посадить и посеять, чтобы еды было побольше. Хлеба и работавшим, и детям давали по 400 граммов. Иногда перепадало и молоко – в основном снятое молоко, обрат. И все равно преследовало постоянное чувство голода. Главная тема разговоров – как выжить? Мамы стали фантазировать – есть два раза в день... но живот ведь не обманешь, он просит и просит своего. За Кемью находилось село. 31 мая, в Праздник лета, там это была Троица, наши мамы всерьез решили поехать за реку, за семенами – там они и лучше, там их и больше. Ну вот, позавтракали мы, а потом произошло то, что я и до сих пор не могу понять и объяснить, как это могло случиться... Неожиданно меня охватило такое чувство, которое нынче называют депрессией, отчаянием. Я забрался под одеяло и стал безутешно плакать. Мама спросила, что со мной. А я не знал, отчего я плачу. Постепенно я успокоился, и мамы отправились в свое путешествие за семенами. Мы, дети, стали играться. Через некоторое время входит госпожа Ешинска с дочкой, мокрая, в нижнем белье, и говорит: «Госпожа Хофмане тонет». Это было что-то страшное. Я помчался вдоль деревни, по дороге ко мне присоединялись ровесники, кто-то спрашивал меня, кто-то плакал. Я почувствовал, что в моей жизни сейчас произойдет самое ужасное, что и случилось. Подбежал к реке, там уже была лодка, баграми искали мою маму в воде. Это было так страшно на чужбине. Кто-то сказал мне, чтобы я сбегал домой и принес одеяло, так как, если ее найдут, ее придется откачивать, тонущим людям необходима такая вот помощь. Зареванный, помчался я в наш барак. Прибежал, когда маму уже вытащили, стали откачивать, но вода не вышла. Пришла фельдшерица – врачей поблизости не оказалось – и сказала, что мама не утонула, а умерла от сердечного приступа. Ее отвезли в школу, положили в каком-то помещении. Ночью я бегал к ней не один раз, упрашивал, теребил. Я не мог осознать, что она умерла. Похоронили, как могли. Так я остался один.

Работать я еще не мог, и чтобы я не умер с голоду, меня поместили в детский сад. Так и жил я вместе с шестилетками, ел с ними за одним столом, присматривал за ними, помогал воспитательнице. Но я был сыт! Осенью по какой-то причине меня отвезли в соседнее село, жил я там у какой-то русской женщины. В школу в тот год я не ходил.

Через некоторое время входит госпожа Ешинска с дочкой, мокрая, в нижнем белье, и говорит: «Госпожа Хофмане тонет». Это было что-то страшное.

А теперь расскажу, как складывались мои отношения с деревенскими ребятами. Естественно, мне часто приходилось слышать слово «латыш», и воспринималось это как некий унизительный факт – что я не такой, как они, что я чуть ли не враг. Со временем я с ребятами сошелся ближе, но этого им не простил и часто дрался. Залезем на вербу, едим почки, вдруг они начинают меня бить, кидаться в меня, кричать «Сейчас мы тебя проучим!», а когда я спрашиваю, за что, отвечают – неважно. Я знал, что я сильнее каждого из них в отдельности, слезал вниз и набрасывался на самого сильного. Повалю, а на меня следующий. И я, конечно, из такой потасовки выходил побежденным.

Прибегу домой, плачу, но не от боли, конечно, а от мысли, что я один, что меня никто не защищает. В конце концов наше противостояние закончилось курьезом. По вечерам в бараке, который называли клубом, собиралась молодежь. Взрослые ребята уже знали, что мне досталось, что на меня напали двое. Они посчитали это несправедливым и предложили – теперь ты можешь рассчитаться с ними по одному. Драться нужно будет один на один, второму они не дадут напасть. Я сначала не поверил... Иди знай, что они собираются вытворить... А им захотелось посмотреть представление, они меня подзуживают, ну, я и напал на того, что был посильнее, повалил на землю и потребовал, чтобы он просил у меня прощения. Когда он произнес «не буду», я его отпустил. И тут я набросился на второго, что был послабее, но тот сразу же запросил «не буду, не буду».

А теперь о школе. Учился я во 2-м классе. Один русский мальчишка, четвероклассник, все приставал ко мне, заставлял с ним бороться. Прижмет к земле и заставляет говорить «не буду, не буду», а я понять не мог, чего я не буду делать! Дошел до такого состояния, что спать не мог! Утром в полном отчаянии отправлялся в школу... Так продолжалось с месяц, и однажды утром я встал и понял – сегодня мой день, буду драться! И дрался так отчаянно, что он тут же стал приговаривать «не буду, не буду». Если человек соберется с силами, он одолеет и сильного, если в нем сильно желание победить!

А теперь расскажу о жизни в селе. Было это в 1943 году, когда женщина, у которой я жил, взялась отвести меня в Казачинский детский дом – пешком за 30 километров. К вечеру пришли. Казачинск – поселок городского типа, дома – рубленые избы, тротуары дощатые. Когда мы подходили к детскому дому, темноволосый мальчик, сидевший на завалинке, распевал песенку «Латыш, куда летишь?..». Меня это задело, но...

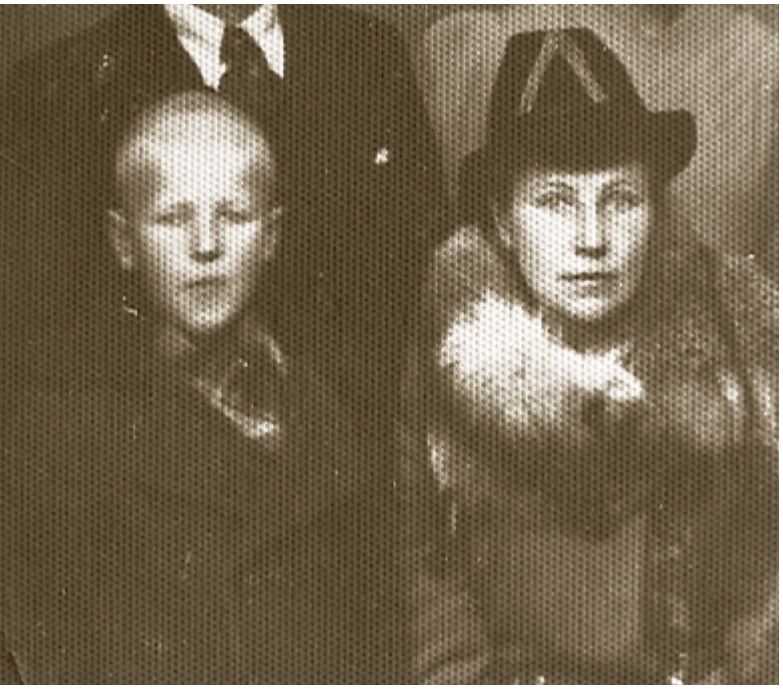
В детском доме меня записали, о чем-то спрашивали. Завели в комнату, показали мою кровать. В детском доме были только дети поволжских немцев. Как они туда попали? Вообще-то с ними обошлись еще хуже, чем с нами, латышами. Родителей их отправили на трудфронт, а детей в детские дома. Говорили они по-русски, но не очень хорошо. В комнате нас было человек 15–17, мальчики от пяти-шести лет до 16–17-ти. Очень симпатичные немецкие мальчишки.

Меня расспросили, выяснили, сколько мне лет. Потом показали, кому буду подчиняться я и кто будет подчиняться мне. Потребовали, чтобы я поборолся с парнем, который был выше меня. Борьба заключалась в том, что противника надо было положить на лопатки. Я его повалил. Потом еще с одним. И того прижал к земле. Меня похлопали по плечу, похвалили, сказали – настоящий борец. Потом боролся с рыжим толстяком, положил его на лопатки, потом он меня, потом я его. И тут подошел большой парень, поднял меня в воздух и изо всей силы шмякнул об пол, так что я не мог даже подняться, я даже заплакал, но быстро перестал, чести мне это не делало, да и пожаловаться было некому. Но косточки мне не переломали, слава Богу. Так вот началась моя жизнь в детском доме. Летом отправляли нас работать то в лес – заготавливать дрова на зиму, то в поле.

Пришла осень, пора было в школу. Зимой с едой было трудно. Появилась там одна воспитательница, которая мне благоволила, брала меня на воскресенье к себе домой, кормила. Квартирка у нее была чистая, уютная, много икон. Там я видел, как старая русская женщина от всего сердца молится Богу. Я испытал даже какое-то чувство благоговения. Она молилась о своих сыновьях, которые были в армии, молилась, чтобы они живыми вернулись домой.

Настала весна 1944 года. Нам объявили, что весь детский дом переезжает в другое место, в совхоз Дудовка – примерно в 30–40 километрах от Казачинска. В детском доме появились дети и других национальностей. И жизнь началась довольно печальная. Когда мы приехали, была там подмороженная капуста, до чего же невкусная! Но как-то жили, существовали.

Приехали весной, и тут на нас навалилось несчастье – ожили клопы! Уж как мы пытались от них



Эдвинс с матерью Лидией в Латвии

спасаться – отодвигали кровати от стен, выносили кровати в коридоры, обкладывали кровати папоротником, но клопы падали на нас с потолка, и с этим ничего нельзя было поделать, сыпались на нас как мелкий дождичек. И тут появились умники, которые сказали, что клопов могут одолеть муравьи. Мы не поняли, что был это варварский ход, но мы отправились с наволочками в лес, принесли в дом целые муравьиные кучи, раскидали, где придется. На пару дней помогло – клопы куда-то пропали, но муравьи ведь не домашние животные, теперь и они пропали, и клопы набросились на нас с новой силой.

В детском доме детей все прибывало – калмыки, татары, чуваши, русские дети, немцы. И начались несчастья – нетерпимость друг к другу, драки, проявление жестокости. Некоторые мальчики писались. Кто-то решил, что это из-за лени, на самом-то деле виноваты были плохие условия жизни и питание. Придумали для них наказание – десять ударов ремнем. Были такие, которым наказывать доставляло наслаждение. Но прошло совсем немного времени, и с ними случилась такая же беда. Мы решили, что это расплата.

Безжалостно относились и к тем, кто имел привычку ябедничать. Внутри коллектива существовал такой порядок: в личных хозяйствах воровать нельзя, а на совхозном поле украсть картошку, испечь на костре можно.

Мы додумались и до того, что, раз у нас нет родителей, а государство кормить нас не хочет, мы как-то должны жить. Подло, конечно, это было – выкапывали картошку, которую только что посадили. Весной, когда в доме все заканчивалось, в поле еще ничего не выросло, бывали такие дни, когда нам давали одну свеклину на день. И мы придумали! Были там длинные погреба, где женщины перебирали картофель, гнилые выбрасывали, хорошие откладывали... Мы приноровились тайком пробираться в погреб и набирали картошку за пазуху. И когда «распухали» достаточно, вылетали из погреба стрелой. Нас ловили, но поймать никому не удавалось. Это тоже был способ выживания!

Однажды у бригадира стащили лодку. Шестеро нас было, сели в лодку, переплыли через реку. Знали, что обеденное время, знали, что огурцы поспели. Но не думали, что сторож начеку, решили, что он тоже обедает, а он спрятался за стогом сена. Забрались мы на грядки, пихаем за пазуху эти огурцы, и тут я услышал смачную брань, кто-то с палкой идет на нас. Мы как воробьи, разлетелись во все стороны, чувствую, кто-то идет на меня, ругается на ходу. Понял я, что плохо мне придется, быстро убежать не сумею. Единственное спасение – податься на озеро, в заросли. Только там и спрятался.

А вот еще случай. Во время наших работ. Работали мы тяжело. На быках возили навоз. С быками была просто беда. Тащат, тащат, а потом вдруг улягутся и ни с места. А когда поднимутся, вместе с телегой ломятся в кусты. И ни за что не вывести оттуда. Меня назначили возить воду в детский дом на телеге, в которую была запряжена корова. Наполнил бочку, хлестнул корову, крикнул ей «цоб-цобе», а она только глазом повела и ни с места. Повернулась и опрокинула бочку на бок. Поднять не могу, позвал на помощь. Налил бочку снова. Думаю, как-то по-другому бы надо – подошел, погладил, за ушами почесал, поговорил ласково, она и пошла. Вот и мастерство в руках.

Осенью пошел в 3-й класс. Пришла новая учительница, стала проявлять ко мне благосклонность. Могла во время диктанта подойти, указать в тетрадке ошибку. Стали меня в классе любимчиком звать. Оскорбляло это меня, стал я избегать ее. Она предложила отвести меня к ее матери в деревню, я отказался... очень категорично. Может быть, потому что не хотел прослыть любимчиком. Потом она хотела меня усыновить. Было бы на что посмотреть – 14-летний мальчишка и 18–19-летняя учительница.

Я знал, что у меня начнется другая жизнь, и все-таки отказался. А что будет, если я вдруг домой попаду?! Тогда она обратила внимание на Фрициса. Я был отличником, а все думали, что это потому, что учительница мне благоволит. Пришел новый учитель, молодой, очень симпатичный человек, бывший лейтенант, после ранения, у него я учился в 4-м классе. И я подумал – и здесь буду отлично учиться, чтобы не думали, что это из-за того, что я чей-то любимчик.

В 1945 году война подходила к концу, начали приходить письма из Латвии, бабушка прислала немного денег, и я все чаще и чаще стал задумываться о доме. Я решил – надо написать Сталину письмо, нашему отцу и учителю, мы ему верили. Я написал, что я отличник, что я пионер и что очень хочу домой. Получил ответ, что мое письмо получено, в канцелярии Сталина его учтут и рассмотрят мою просьбу. Это было нечто потрясающее!

А потом приехала латышская делегация, которая собирала детей из детских домов. Первым узнал об этом парень из канцелярии, что в Дудовке. Парень этот разыскал меня. Латышей было много, были сестра с братом, младше меня, была еврейская девочка, очень красивая девочка.

Обратились во все детские дома, чтобы подали сведения о латышских детях. Но руководство моего детского дома мне об этом не сообщило. И я был вынужден бежать за 200–300 километров в Красноярск. Разыскал шофера, который должен был отвезти, попрощался со всеми знакомыми. Была там такая госпожа Зенларе с дочкой Ритой, они меня часто подкармливали, принимали у себя дома, очень сердечно ко мне относились. А тут этот парень сказал, что шофер испугался возможной проверки. И все-таки пришло строгое указание везти латышских детей в Красноярск. Стали нас потихоньку готовить к поездке.

Выдали какие-то продукты и отвезли в Галанино, где мы ждали парохода. Ждали долго, продукты кончились. И пошел я по Галанино попрошайничать. Подали три вареные картофелины.

Эдвинс (второй слева) с приятелями. Сибирь

Словом, посадили нас на пароход, и отправились мы в Красноярск. Ехали, как поросята, спали там, где удобно, чаще всего возле машин, где было теплее.

В Красноярске оказались вечером, нас сразу же отвезли в школу для глухонемых, которая еще не работала. Поселили в пустых комнатах, одеял не было, спали в чем ходили. Иногда ездили в город. На базаре, если были деньги, можно было за 30 рублей купить буханку хлеба, купить можно было и тарелку супа. Забрались в яблоневый сад – яблок не видел все эти годы. Сторож ловил нас, но не поймал, так вот мы и попробовали яблоки впервые в Сибири.

В вагоне нас было много. Были и взрослые, сопровождавшие нас. Худо было с едой, часто выражали недовольство – казалось, что нам выдают не все положенное.

Приехали в Москву, там нас приодели – до сих пор сохранилась эта одежда, как память. В Латвии нас поместили в детский дом на углу улиц Кандавас и Вилипа. За мной за одним из первых приехал муж маминой сестры дядя Жанис, отвез к себе домой, фактически это был не дом, а клеть. Это были те места, где Латышский легион сражался с советскими войсками. Домов не осталось, одни хозяйственные постройки. Первое, что я услышал, когда переступил порог дома: «Ой, какой маленький». Было мне в ту пору 15 лет.

В школе снова то же самое! Подошел парнишка, с которым мы впоследствии подружились, спрашивает: «Сколько тебе лет?». Ответил, что 15. А он: «Почему такой маленький?». Пошел в 5-й класс. Трудности с языком были. Этого я допустить не мог, и год окончил с похвальной грамотой. 7-й класс окончил как отличник.

Поступил в техникум, в автобиографии не писал, что был в Сибири. Это теперь я знаю, что тем, кому это надо было, обо мне все было известно, – я попал в архив и узнал, что находился под наблюдением еще когда учился в семилетке. Обо мне каждый год подавали сведения. В детском доме звали меня все не Эдвинс, а Гоша или Гофман. Приехал как Гоша, вернулся к своему имени, а когда паспорт выдали, стали меня снова звать Хофман.

Знаю теперь, что в архиве хранятся все сведения обо мне, об отце. В техникум меня приняли, но пришлось прервать учебу – призвали в армию. Окончил, когда отслужил. А потом началась жизнь в Советском Союзе.

Ни одного близкого человека у меня не было. В детском доме трудно сходился с ребятами, сколько слез пролил, что не было друга. Потом стало казаться, что в деревне люди мне ближе, чем в детском доме. В 44-м или в 45-м году с одним немецким мальчиком решили мы уйти в те села, откуда нас привезли в детский дом. Зима, мороз градусов 40 или 50. Мне до села 70 километров, ему – 55. И пошли мы через тайгу. В Казачинске провели ночь и отправились дальше. Он дошел, а мне дальше шагать. Еще 15 километров через тайгу, где волки и рыси. Но я не боялся. Это сейчас, как вспомню, мурашки по телу.

Что означает Сибирь? Много огорчений доставляло общение с себе подобными, защиты никакой, постоянно чувство обиды. Конечно, я стал более защищенным от трудностей, чем если бы я рос в благополучной семье. Но выносить несправедливость очень и очень трудно. Если меня несправедливо обвиняют, я воспринимаю это очень болезненно. Если вижу, что сильный обижает слабого, обязательно вмешаюсь. Сибирь в определенном плане меня закалила, я стал решительней... Была бы семья, все сложилось бы, конечно, иначе...

Знал, что отца нет, в лагерях в 41-м году люди погибали подряд. Юрист нашел материалы, где говорится, что отец был приговорен к смертной казни. Для меня это стало ударом. За что? Долго не мог прийти в себя.

Сибирь по гроб жизни не забуду. Конечно, многое из того, что там происходило, я воспринимаю и как норму, нельзя сказать, что вся моя жизнь там была как одна черная полоса. Человеческие взаимоотношения, друзья, взаимопомощь, неприятие предательства. Взаимопомощь у нас была крепкая, ведь мы выполняли работу, которая была не под силу детям нашего возраста. Мы, 14–15-летние ребята, валили деревья в тайге, управлялись с топором, опасное это было дело, но мы не боялись!